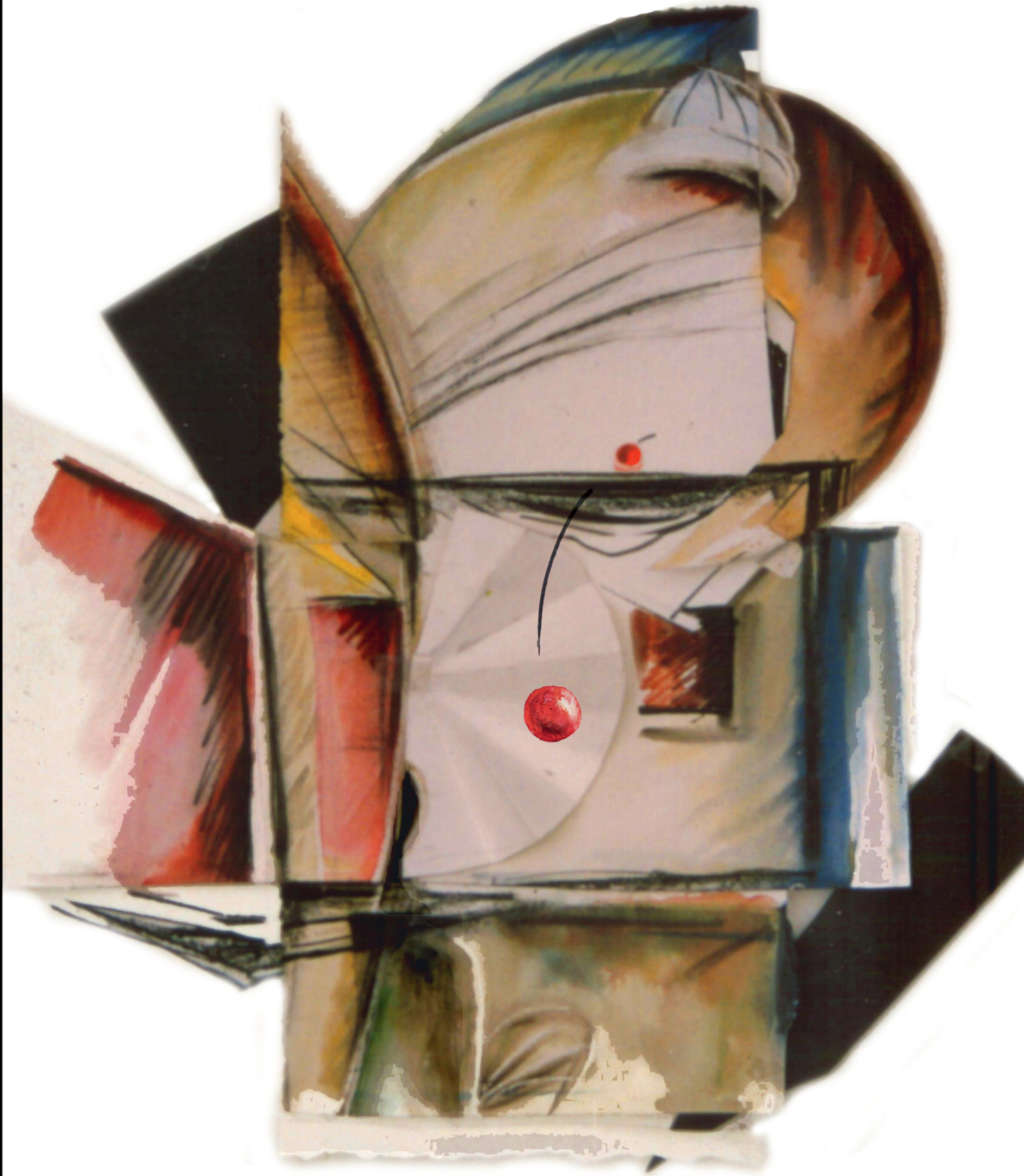


# ПОЦЕЛУЙ КУНИЦ НА МЦК



МАРИНА ПОПОВА

Марина Попова

**Поцелуй куниц на МЦК**

«ВЕБКНИГА»

2020

**Попова М.**

Поцелуй куниц на МЦК / М. Попова — «ВЕБКНИГА», 2020

ISBN 978-5-94-282869-1

Как описать раздвоение личности?.. Героиня книги, прилетев из Монреаля, где прожила более половины жизни, попадает в «ковидное заточение» московской квартиры своих покойных родителей. Заточение оборачивается литературным путешествием против течения времени, по удивительным пространствам памяти с полумистическими совпадениями и тревожными предчувствиями... Как художник, она работает «на стенах», как говорят монументалисты, по всему миру. Это дает ей пищу для наблюдений, сравнений, противопоставлений. В книгу также включены рассказы.

ISBN 978-5-94-282869-1

© Попова М., 2020  
© ВЕБКНИГА, 2020

## Содержание

Поцелуй куниц на МЦК	6
1	6
2	12
3	16
4	21
5	24
6	28
7	32
8	36
9	41
10	44
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Марина Попова

## Поцелуй куниц на МЦК

*Когда задумаешь ремонт, молись, чтоб долгим оказался путь.  
Подражая Кавафису*



О·Г·И

© Марина Попова, 2023

© Оформление. ООО «Издательство ОГИ», 2023

## Поцелуй куниц на МЦК

### 1

*Ноябрь, 2019 год*

*Мы привезли с собой из Канады респираторы и медицинские перчатки! Предстояла операция по разбору родительского наследства. Задыхаясь от африканской жары, исходящей от неуправляемых московских батарей, мы уложили в тридцать больших коробок те книги, которые отобрали для себя. Остальные до поры до времени оставались на стеллажах... В Москве все говорили, да и мы сами полагали, что во времена электронных книг бумажные мало кому нужны. Хотя за последние десятилетия квадратных метров у людей прибавилось и держать книги стало вольготней, время высоких технологий притупило желание обладать ими, несмотря на роскошные обложки, изысканные иллюстрации, вкусный дух бумаги.*

Родители мои были искусствоведами, писавшими о современных художниках – украинских, пока жили в Киеве, русских, когда переехали в Москву, и западных с начала перестройки. Мы как могли следили, чтобы их труды попадали в наши коробки, а не уплывали через дворничьи каналы на макулатуру. Приходили друзья, брали по несколько томов, но на общий объем это не влияло. Времени оставалось мало – за полтора месяца мы должны были очистить квартиру под капитальный ремонт!

Друзья спрашивали: «Будете сдавать?»

Такого я не могла себе даже представить, ведь я осталась единственным хранителем того мира, который после смерти мамы шесть месяцев назад начал путь к окончательному своему исчезновению. Никому не приходило в голову, что я захочу продлить его, по возможности сохранив остатки, и чужие люди сюда никак не вписывались. Остатками была память – субстанция расплывчатая и субъективная. Кроме невнятных отпечатков в сознании, она включала в себя запахи предметов, книги, фотографии, принадлежавшие нескольким поколениям образованных людей с развитым вкусом. Уйду я – останется пустота! Еще одним важным свидетелем и участником той живой жизни был вид из окна – на много километров растянувшийся пейзаж Воробьевых гор. Обитатели квартиры смотрели на него, а он смотрел на них четырьмя своими сезонами.

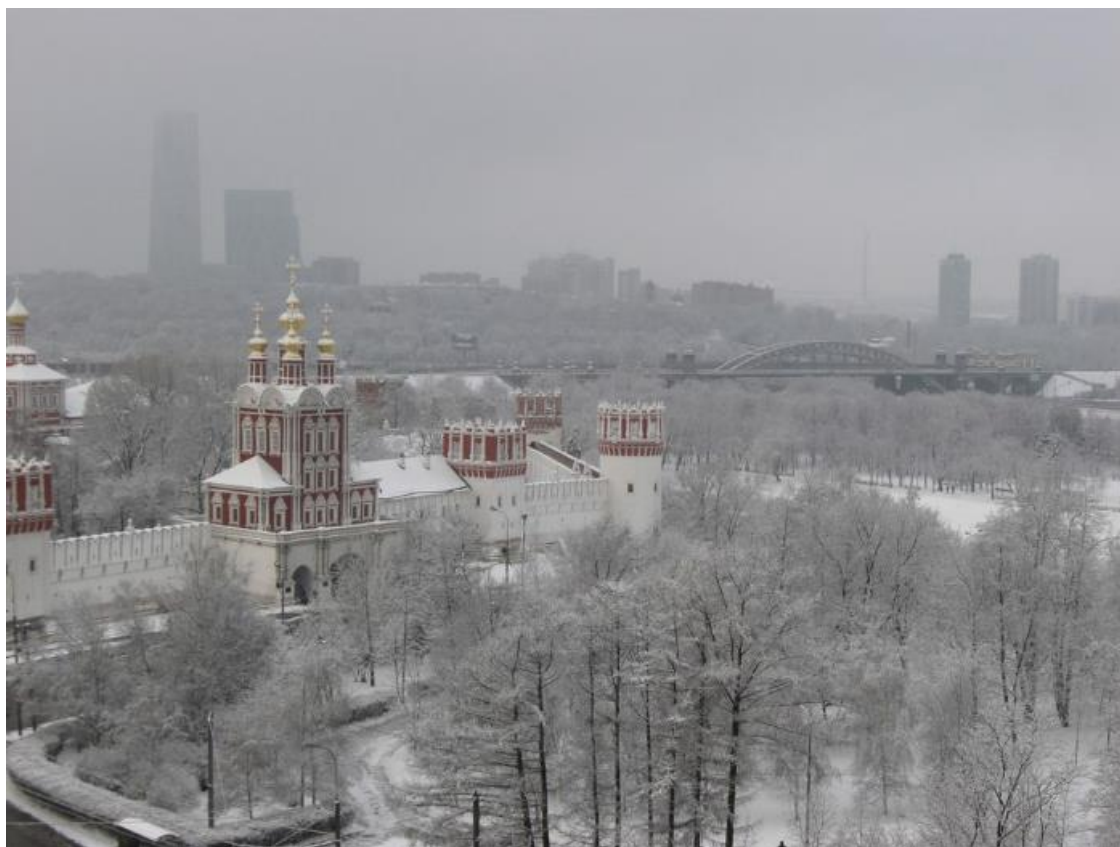
«...Все движимое и недвижимое имущество...» Вещи – имущество движимое, и свойство их переживать людей и столетия, менять хозяев и адреса. А вид из окна – собственность недвижимая, и только глаза смотрящих разные.

Когда знакомые впервые приходили в гости, мама сразу просила их подойти к окну.

– Вы, наверное, слышали о нашей валютной панораме?! – говорила она светским голосом. Даже свою красоту и кандидатскую по истории искусств она не ставила так высоко, как этот вид, который дался ей путем сложных обменов.

С двенадцатого этажа открывается широкомасштабная панорама – под разными углами чередой бегут горизонты. Куполом нависло большое ветреное небо – облака беспорядочно налетают друг на друга, образуя воронки, из которых валит пар, словно в чанах кипятят белье. Если перейти от общего к частному, то справа, как торт из взбитых сливок с вкраплениями красных, зеленых и золотых марципанов, раскинулся Новодевичий монастырь. Сверху виден его двор, обнесенный каменной стеной со сторожевыми башнями и надвратной церковью. Маковка колокольни на уровне глаз чуть наклонилась на бок. В любой точке квартиры маячит золотая ее головка с крестом, то левее, то правее – в зависимости от угла зрения. Со стороны кладбища – треугольный островок, зажатый между двумя улицами Большой и Малой

Пироговской, словно две реки, огибают наш солидный сталинский дом. Ночью фонари сбегаются лучами вниз к Москве-реке, собираясь в пучок света в точке схода. Впереди железнодорожное полотно. Раньше товарный состав долго ехал через каждое окно квартиры, создавая по ночам уютный звуковой фон для здорового сна. Теперь здесь несутся суперсовременные поезда; дальше Третье кольцо, вертящаяся в этом месте Москва-река, Воробьевы горы и вертикаль Московского университета.



*Вид из окна зимой*

При знакомстве с мамой, первое, что бросается в глаза, – это ее неординарная красота! По-английски – «striking beauty». Здесь ясно звучит strike – удар, и в этом вся она! Волосы с волной, и каждая прядь разного цвета, от русых, через рыжеватость в шатенку. Тонкий породистый нос с небольшой горбинкой, взрывные серые глаза, стремительный профиль, таящий не только энергию, но и некоторую опасность. Уравновешивают тревожность ямочки, которые обычно свойственны женщинам пухлым, домашним. Добавьте сюда хороший рост, прекрасной формы ноги, прямую осанку, щедрую грудь, и можно считать, что портрет готов.

Мамину красоту из окна своего лимузина оценил когда-то Лаврентий Берия, что заставило ее – москвичку, дипломницу МГУ, бежать в Киев долой от его жадных и страшных глаз. Там она вышла замуж за моего отца, отчего на свет появилась я; развелась и снова вышла замуж, когда мне было восемь лет.

Прожив в Киеве более трех десятилетий, в конце 70-х мама навсегда вернулась в свою обожаемую Москву. Вместе с ней переехал туда и мой отчим – искусствовед Владимир Павлович Целтнер, киевлянин во многих поколениях. Как раз в это время на Крымском мосту открылся огромный выставочный зал Центрального дома художника. Директором его стал легендарный Василий Алексеевич Пушкарев. Бывший директор Русского музея в Санкт-Петербурге, где он проработал более четверти века, по навету лишился своего поста и переехал

в Москву. Чтобы превратить казенное учреждение ЦДХ в живой центр современного искусства (здесь показывали кино артхауса, выступал Шнитке, пел Окуджава...), Пушкарев создал команду единомышленников. На место директора выставок он пригласил моего отчима В. П. Цельтнера, и под сенью двух открытых миру визионеров зацвел московский культурный оазис!

В самом конце 80-х, когда началась неудержимая мода на все, что *made in USSR*, сюда хлынули иностранцы: слависты, музыканты, певцы, литераторы, художники, галеристы, коллекционеры. Мой отчим, отлично понимавший современное, концептуальное искусство, включающее в себя философию, архитектонику, текст, звук, видео, участвовал в организации практически всех экспозиций. С началом перестройки и падением железного занавеса мастера с мировыми именами спешили устроить здесь свои выставки. Спешить следовало, а то не ровен час, опять все закроют. Так, например, В. П. курировал выставку американского художника Джеймса Розенквиста, одного из гигантов поп-арта – художественного течения, включавшего Энди Уорхола, Роберта Раушенберга, Роя Лихтенштейна и других. В молодости Джеймс рисовал рекламные щиты и однажды, сидя на лесах над Times Square, наблюдал, как под ним проехала открытая машина, в которой сидел Никита Хрущев. Розенквист гордился этой полувстречей, добавляя, что «слава богу, никакая банка с краской не свалилась на голову вашего президента!» На этом его знакомство с Советским Союзом закончилось.

Продолжилось оно во время его выставки в ЦДХ. Как-то раз В. П. пригласил художника и его помощницу Беверли в гости. В лифте ей стало плохо. Кто же знал, что наш крошечный лифт вызовет у нее приступ клаустрофобии?! Почти бездыханную, ее перенесли в квартиру, и тут она воспрянула, и оба бросились к окну. Два мощных символа древнерусской и сталинской эпох встали перед глазами американцев – Новодевичий монастырь с золотыми луковицами и высотка МГУ. (Горизонт одного из семи холмов Москвы до поры до времени оставался нетронутым – массовое строительство развернулось позже.) По чистой случайности эту атрибутику Розенквист использовал в плакате своей первой выставки в Москве, а тут, пожалуйста, – живое, дышащее, шумит, едет, звонит в колокола...

После выставки В. П. задумал написать о нем монографию. По приглашению художника мой отчим впервые оказался в Нью-Йорке, который был тогда Меккой – лучшей площадкой для исследования и погружения в современное искусство. (На Западе современное искусство «удобно» делят на два временных периода: модерн-арт – 1860–1960 и современное (contemporary) – с 1960 по наши дни.)

\* \* \*

Итак, в 1990 году мы с В. П. оказались в Нью-Йорке и остановились в пятиэтажном доме-мастерской Джеймса Розенквиста на Чамберс-стрит в Сохо. Я, как бывалая канадка, прожившая в Монреале уже несколько лет, помогала, переводила, вводила В. П. в курс американской жизни, показывала знаменитые галереи в Сохо и на 57-й стрит. Знала я о них не понаслышке – сама сотрудничала с двумя. Розенквист был не только гостеприимным хозяином, но и вообще классным парнем, без европейского снобизма – настоящий крутой американец, как мы их себе представляли по глубоко советскому фильму «Последний дюйм», снятому по рассказу Олдриджа. Недаром в те дни В. П. напевал себе под нос: «...Трещит земля, как пустой орех, как щепка трещит броня...» Я подхватывала: «Какое мне дело до вас до всех, а вам до меня...»

Джеймс катал нас на грузовом лифте с этажа на этаж, подолгу останавливаясь на каждом. У лифта вместо кнопок был штурвал, и Джеймс напоминал сразу моряка и пилота. Одна остановка – большая мастерская, но для его монументальных произведений, доходящих иногда до двадцати метров в длину, этого было недостаточно. Основные же пространства для работы находились во Флориде – в ангаре, переоборудованном под студию.

Вторая остановка – мастерская жены. В помещении на третьем этаже проходил ремонт. Но Джеймс не собирался проезжать мимо. Он вышел из лифта, а мы за ним. В центре была свалена груда хлама, поломанная железная кровать, ведро из-под краски, в углу стоял американский флаг. Уж на что мы с В. П. были рассмотрены и подкованы в области современного искусства, но, когда Джеймс объяснил нам, в чем дело, мы несколько смутились. Оказывается, это была инсталляция великого поп-артиста Роберта Раушенберга, призванная обратить внимание общественности на американские тюрьмы и вообще – на относительность свободы.

На вернисаж Раушенберга, где выставлялись его знаменитые коллажи и несколько инсталляций, пришел Розенквист. Художники, оба патриархи поп-арта, дружили искренне, но, борясь за первенство, время от времени подкалывали друг друга. Роберт спросил:

– Ну как, мэн, что тебе больше всего понравилось?

А тот возьми да и скажи, показывая на тюремную койку:

– Вот это, старик, здорово!

После окончания выставки позвонили из галереи и попросили забрать подарок от Раушенберга. Эта анекдотичная история только доказывает, что художника следует изучать во всей красе в контексте его творчества.



*Автор рядом с инсталляцией тюремной койки Роберта Раушенберга*

Как-то Джеймс пригласил нас на ужин в самый дорогой ресторан Нью-Йорка. Ресторан на Парк-авеню открылся в 1959 году в небоскребе, построенном Мисом Ван Дер Роэ по заказу семьи бывших канадских бутлегеров Бронфманов.

Отправились мы туда втроем на пикапе. Джеймс за рулем. Хотя в кабину спокойно помещалось три человека, он сказал мне:

– Езжай в кузове, не пожалеешь.

Там я легла на одеяло, видно специально приготовленное для этой цели, и мы влились в нью-йоркский трафик. На каждом светофоре нас задерживали молодые наркоманы, пытались помыть ветровое стекло и заработать доллар-другой. Машина едва продиралась через пробки на узких аллеях небоскребов, и вершины их, словно гигантские зубные щетки еще одного поп-

артиста Класа Ольденбурга, скрещивались и качались у меня над головой. Я вспомнила слова Джеймса, что Нью-Йорк – город наэлектризованный и жить в нем трудно даже неработающим, а уж работающим – так это за гранью воображения.

На Парк-авеню Джеймс отдал ключ от машины швейцару, и мы вошли в фойе. Перед входом в зал рядом с внушительным занавесом Пикассо для дягилевского Ballet Russe висело несколько пиджаков для нерадивых гостей, не соблюдающих дресс-код. Двухуровневый зал с фонтаном посредине не поразил роскошью; он был выдержан в духе скупой эстетики Миса Ван Дер Роэ. На втором уровне во всю стену висела огромная, яркая и дерзкая картина Джеймса Розенквиста «Цветы, Рыба и Женщины». Она доминировала над всем пространством и просматривалась отовсюду. Нам подали меню, и я не увидела цен. Это был особый шик – приглашенным гостям полагалось ни о чем не беспокоиться. Харизматичный Джеймс, которого все здесь знали, шутил с менеджером, официантами, представлял их нам, спрашивал о реакции посетителей на картину. Делал он это, конечно, для В. П. – что называется, показывал будущему автору первой монографии о нем в России товар лицом. Менеджер отчитывался:

– Картина всем нравится, но иногда нарекания вызывает скользкий рыбий глаз. Женщины и цветы нравятся безоговорочно!

– Главное, чтобы нравилось этому парню! – сказал Джеймс, указывая на В. П.

Я переводила... Смотрелся В. П. в Америке на все сто! Американская непринужденность пришлась ему по вкусу, хотя сам он выглядел здесь чистокровным европейцем, кем, собственно, и был.

После аргентинского стейка с лесными грибами, русского салата, который оказался нашим оливье, десерта для меня и сигар для мужчин Джеймс вскользь упомянул, что стена, на которой висит его картина, – знаковая.

Тут он на минуту отвлекся с официантом, а В. П. сказал мне:

– Кстати о знаковой стене... Совсем забыл... Ведь у меня для тебя подарок – кусок хорошо тебе знакомой Берлинской стены! – (Падение стены произошло за год до этого разговора в 1989 году. Обломками торговали в сувенирных лавках.) – Напомни, когда мы вернемся в Монреаль.

Как рассказал Джеймс, с самого начала стена в ресторане предназначалась для серии картин мэтра абстрактного искусства – Марка Ротко. (Впервые в России его работы были представлены в 2010 году в галерее «Гараж», принадлежавшей тогда Дарье Жуковой и Роману Абрамовичу.) Отношения у художника с заказчиком не сложились. Как я узнала позже, история эта оказалась трагичной.

А в тот вечер Джеймс не был расположен говорить о другом художнике. Ему хотелось говорить о себе, о своих планах, о будущей книге. Время от времени мы поглядывали на панно, дивясь колоссальной энергии, из него исходящей. В. П. спросил, как сам Джеймс понимает свою картину. Тот на секунду задумался, а потом начал хохотать и хохотал долго.

– Извините, ребята, – сказал он, отдуваясь, – я тут кое-что вспомнил. Однажды мы здорово надрались в мастерской у Боба (Раушенберга), и он вдруг вздумал показать мне свои новые работы. Мне понравилось, но я сказал, что не уверен, что понимаю их. Тут Боб разразился каким-то inferнальным смехом. А потом говорит: «Ты что, всерьез думаешь, что я их понимаю?!»

Джеймс опять стал покатываться, и В. П. вместе с ним. И так это у них дружно получалось, что я подумала, что книга обязательно будет издана. (Книга действительно появилась на свет, но уже после смерти В. П.)

Посетители за соседними столиками сначала вежливо улыбались, но смех заразителен, и скоро они присоединились к общему веселью. Официанты едва удерживали подносы. Над головами плавало облако сигарного дыма, и хотя известно, что означает смех без причины, это только подливало масла в огонь, а с картины паялилась рыба, смотрела женщина и цвели цветы.



*Владимир Павлович Цельтнер и Джеймс Розенквист на фоне картины последнего*

## 2

*Параллельно с разбором книг надо было искать квалифицированных рабочих. Квартира требовала капитального ремонта, но я не хотела нарушать, а вернее разрушать, еще недавнее пребывание здесь родителей и мое собственное в их компании. Здесь была «моя Москва» – все остальное находилось в Монреале. Поиски подрядчиков по рекомендациям друзей не привели к каким-либо результатам. В строительстве нашего дома ранней постсталинской эпохи использовали любые подручные материалы, отчего технология непредсказуемо менялась из комнаты в комнату, от стенки к стенке. Приходили кустари-одиночки, пугались неизвестной начинки наших стен и, если даже решались произнести хотя бы приблизительную цену, то никакой уверенности, что они с этим справятся, не было. Вызывали фирмы – те, как сговорившись, предлагали начать жизнь сначала – все обнулить и оголеть, включая в приличном еще состоянии дубовый паркет и «родные» межкомнатные двери – сделать все, чтобы стереть память.*

Однажды в студеную пору своей юности я решила поменять жизнь, вырвать себя с корнем из земли, расправить крылья, надуть паруса, и, превратившись в странника, в перекасти-поле, устремиться... куда-нибудь. Повинуясь зову, я в первый раз перелетела Атлантический океан и приземлилась в Северной Америке, где задержалась на долгие годы, где сформировалась как художник-монументалист, где родила и вырастила детей. А потом в какой-то книге о жизни рыб я прочитала о нересте и подумала, что это про меня. Из Википедии: «Все лососевые нерестятся в пресной проточной воде – в реках и ручьях. Большую часть жизни они проводят в морских водах, нагуливая вес, и, когда наступает срок, возвращаются в те же самые места, где родились сами».

Как-то раз в штате Орегон друзья, которых я весьма удачно познакомила когда-то, возили нас по великолепию орегонской природы: мощные водопады, горы со снежными вершинами, действующий вулкан, зачарованные морским туманом леса с огромными деревьями, холодный буйный океан, гигантские, изъеденные ветрами черные камни. В пешеходном переходе под горной рекой круглые окна с толстыми стеклами по стенам обеспечивали просмотр глубинной жизни. Я замерла... Вот так встреча! В стремнине горной реки, да такой, что сдвигала и переворачивала валуны, против течения шел на нерест тихоокеанский лосось! Его откидывало, било о камни, смывало, а он упорно продвигался вперед. «Глупые рыбы!» – думала я.

– Эй, сколько можно?! У нас еще целая программа впереди! – кричали друзья.

Они уже давно стояли у выхода из туннеля. Я начала было продвигаться к ним, но у каждого окна застревала снова, загнипнотизированная ошеломляющим зрелищем самоубийства рыб, происходящим на моих глазах. Ко мне подошла Наташа. В юности она училась в хореографическом училище и была одной из самых стильных девочек Киева. Знакома я с ней тогда не была, но даже сейчас перед глазами – весенний Город, ожившая толпа, сбросившая наконец зимнюю одежду, девочка, идущая вниз по Прорезной улице на Крещатик – балетная походка, розовый вязаный берет и зеленые расфокусированные глаза в не портящих ее очках. Похожая на ангелов с фресок Мелоццо да Форли, она была вполне практикующим чертенком! К тому времени с балетом у нее было покончено – мало кто выдерживал чудовищную нагрузку хореографического училища и становился профессиональным танцором. К окончанию школы из нормального класса в тридцать учеников оставалось от силы человек пять. В наш одиннадцатый класс художественной школы ее привел старший брат – замечательный художник.

Изнывая от скуки, уже целую четверть мы дрючили академическую постановку. Позировал пожилой натурщик в набедренной повязке, с дряблыми мышцами, в классической позе – опорная нога и в противовес ей палка для баланса. Увидели? Скука смертная! Преподаватель

вышел в коридор к визитерам, оставив дверь приоткрытой. Там они стояли и разговаривали среди гипсовых скульптур всех на свете богов и философов, их носов, губ, капителей и ваз. Блондинка с тонкой талией и слишком круглыми для балерины бедрами, в берете на один бок искала кого-то глазами. Оказалось, меня, потому что наш преподаватель, ошибочно принявший ее за ангела, посоветовал не дружить с ученицей с дисциплинарными недостатками, и она хотела точно знать, с кем именно ей общаться.

Она подходит ко мне сзади и тоже смотрит.

– Мусечка, – говорит она, – никогда не знаешь, что произведет на тебя впечатление!

Тут подтянулись мой муж с Яриком, похожим на Высоцкого.

– Ты что, нереста никогда не видела? – спрашивает он и заливается своим «от всей души» смехом.

– Никогда! Это же сизифов труд!

– Наоборот, их труд никак не назовешь бесплодным. Они же идут рожать, – говорит муж.

– Икру метать, – уточняет Ярик.

– Миграция лосося – так же как у нас когда-то была эмиграция, – говорит Наташа, не отрывая изумрудный свой взгляд от рыб. – Это какое-то самоубийство ради потомков...

– ...которые никогда этого не оценят, – смеется Ярик.

Вполне возможно, что после этого поразившего меня зрелища зародилось у меня вздорное желание запустить Время в обратном направлении. Видно, пришла для меня пора нереста без репродуктивной функции – смертельный поход против течения назад к месту рождения. Я слышу, я иду...

\* \* \*

К концу восьмидесятых я стала жить, как всегда хотела, то есть на две страны. Перестройка совпала с моей личной свободой, дети пошли в школу. Мне особенно нравилось возвращаться в Москву из-за пленительных трюков, которые вытворяло здесь со мной Время. Я включалась в игру: хотелось обвести его вокруг пальца – кто кого! Счет менялся – то Время обгоняло, то я догоняла, и на долю секунды мы шли вровень, но силы были неравные. Один из трюков состоял в том, что, когда уезжаешь далеко и надолго от родного дома, который помнит тебя молодой, время замедляется и становится твоим союзником, – в каком возрасте уехал, в том и законсервировался. Возраст в московском пространстве обернулся константой, и не важно прошло ли с того момента десять, двадцать, тридцать или сорок лет... В этом городе я воспринимала себя тридцатилетней – возраст, когда я решила провести черту между «до» и «после».

В Канаде, где время текло своим чередом, я менялась и взрослела в соответствии с законами бытия... По сравнению с бешеным ритмом Москвы, моя монреальская жизнь напоминала жизнь отшельника, чуть ли не Франциска Ассизского, особенно по утрам, когда я в батистовом халате с цветами по светло-лиловому фону кормила в саду пестрых птичек, и они клевали из рук, садились на плечи, задевали крыльями. Вот почему через много десятилетий, в проклятом крысином 2020 году, привыкать к самоизоляции было не слишком трудно, а с походами на выставки и концерты, где залы разрешали заполнять на 25 %, и дружеским ужином после московский карантин казался мне круче канадских тусовок.

С каждым моим возвращением Москва радикально менялась, и я не всегда узнавала ее. То это была Москва лужковская – с дурновкусием «башенок», субкультурой палаток у каждой станции метро, то чистая, ухоженная собянинская – с велосипедными дорожками, роскошными парками, отличной транспортной системой. В мое отсутствие нишу, которую я выстраивала, затягивало паутиной, но, возвращаясь, я напоминала о себе, пыталась наверстать упущенное, вписаться в обновленное пространство. В конце концов, все эти перелеты-наезды-

переезды так запутали меня, что я совсем смешалась. Раздвоение личности было налицо, пока, правда, без серьезных психических последствий. Как-то в одном интервью Иосиф Бродский обмолвился, что «при существовании в двух культурах легкая степень шизофрении является не более чем нормой». Однажды, проснувшись, я увидела колокольню Новодевичьего монастыря и изумилась. По всем подсчетам полагался мне вид на реку Святого Лаврентия, которая в нашем монреальском околотке была так безбрежна и полноводна, что получила здесь название озера Святого Людовика.



*Вид на озеро Святого Людовика*

\* \* \*

За время нашей жизни в Канаде мы с мужем побывали во многих странах – иногда по работе, иногда в отпуске, но я бы скорее назвала это вылазками, – основная жизнь проистекала в Монреале и Москве. Дети росли и менялись, мы с мужем выросли, мир тоже не стоял на месте – время от времени в нем вспыхивали локальные конфликты и войны, маленькие и побольше, влекущие за собой изменения в экономических графиках и географических картах.

То, что мое поколение вступило в пору старения, дал мне понять однажды дежурный травматолог, осудив мое поведение, которое, по его мнению, не соответствовало почтенным моим годам. Дело было так: оказываясь в Москве летом, я, спасибо наступившим переменам при мэре Собянине, обязательно брала напрокат велосипед и ездил по набережным, задыхаясь от любви к этой привычно-непривычной красоте. Как-то раз я притормозила, чтобы сделать селфи на фоне «декоративных» дымящихся труб теплостанции и Сити, архитектура которого мне очень нравилась, – такой цельный, сбитый вместе «натюрморт», возвышающийся над Москвой и задающий городу новый масштаб. Я так увлеклась, что тяжелый велосипед упал мне на ногу, и я взвыла от боли. Еле доковыляла до травмпункта, где мне сделали рентген и

не нашли ни перелома, ни трещины. Заполняя карточку, врач дошел до года рождения и... воскликнул:

– Кто же в таком возрасте ездит на велосипеде, да еще и на «чужом»?

Я обалдела, настолько по нормам последних десятилетий в Северной Америке подобное замечание считалось бы неуважительным, политически некорректным.

– Где вы живете? – продолжал заполнять карту врач.

Чтобы веско ответить, мне обычно нужно слегка затормозить, но тут я нашлась сразу и парировала:

– Живу я, молодой человек, напротив Новодевичьего кладбища и не спешу жить напротив своего дома.

Пока сестра накладывала повязку, врач все хихикал. Остановится, потом вспомнит и опять: ха-ха-ха. Смешливый оказался! Я не обижалась.

Временами трудно было понять, попала ли я в прошлое или в будущее. С одной стороны, я приезжала из той демократической, свободной и богатой страны, по примеру которой в 90-е годы мои соотечественники стремились построить свое будущее. Чтобы преуспеть в демократии, необходимо, как мне казалось, променять очень приятное, райское чувство единомыслия, почти истребленное в нулевые, на суровый индивидуализм Запада, что на самом деле и было свободой – не слишком комфортной, заставлявшей тяжело и терпеливо учиться без гарантии на успех.

При критическом на свое горе уме я уже успела переболеть детской болезнью безоговорочной приверженности западному образу жизни, поэтому в Москве мне порой казалось, что попала я в группу пригостишек – состояние, в котором пребывали тогда многие мои знакомые. Они спрашивали совета – ехать не ехать, начинать бизнес не начинать, и если да, то какой, как живут, как зарабатывают, как купить дом, где учить детей и т. д. Советов я не давала, никого не поучала, тем более что энтузиазм, с которым Россия входила в новую жизнь, та энергия, с которой начала раскручиваться сдавленная десятилетиями пружина, заморозила весь мир! Меня – индивидуалиста, прибывшего из общества индивидуалистов, тоже захлестнула эта коллективная воля, и не сказать, чтобы мне это не понравилось. Я снова и снова проживала удивительную грамматику английского языка – в данном случае Past Perfect Tense (прошедшее совершенное время), оказавшееся для меня далеко не завершенным!

Кто только не попадал тогда под обаяние новой здешней жизни – президент Рональд Рейган, гарвардская профессура, желавшая выскочить из академической рутины, мелкие коммивояжеры в поисках ранее недоступных рынков, инженеры, музейщики, творческая богема. На новостном канале СВС я наблюдала, как лучшая в те времена канадская журналистка Барбара Фрам ведет передачу с Красной площади. Барбару, умирающую от лейкемии, события в России подняли с постели, и она – настоящий профессионал – на пороге смерти с горящими глазами повторяла в микрофон: «История делается здесь и сейчас! Здесь и сейчас!»

Что же было говорить мне, разочарованной не столько западной демократией, сколько собой в этой демократии?!

### 3

На первый взгляд Канада мне понравилась. Несмотря на сходство климата и природы с российскими, все здесь было иначе. Разве не к этой инаковости стремилась моя душа?!

«Хай будэ гирше, абы инше», – любила повторять наша домработница Ганя. На этих словах она замирала и смотрела вдаль немигающим взглядом.

Знакомство с инаковостью страны вначале насыщало мое любопытство, но параллельно мне необходимо было находить что-то знакомое, родное из прошлой жизни, как например, «травки, цветочки», которые упомянула внучка Льва Толстого, когда мы встретились с ней в Риме... В детстве ее называли Татьяной Татьяновной, так как мать ее – дочь писателя – тоже звали Татьяной. Об этом мне рассказала моя тульская бабушка Н. А. Калашникова, – почти ровесницы, они приятельствовали в юности. Передавая мне копию старой фотографии, где все они красивые и молодые на прогулке в Ясной Поляне, она просила поискать Т. Т. в Риме. До нее дошли слухи, что Татьяна замужем за итальянским графом Альбертини.

Найти графиню оказалось нетрудно, она была президентом Красного Креста с офисом на Виа Венето. Более ухоженной пожилой дамы я в жизни не видела. Накануне она вернулась из Америки, где хоронили Александру Львовну Толстую, ее тетю. Говорили мы с ней о ностальгии, которую она, как мне показалось, остро ощущала.

– Ничего, вы едете в Канаду, это вам не Италия, – с некоторым пренебрежением сказала она. – В Канаде все очень, очень похоже на Россию – те же цветочки, те же травки...

И все же Канада совсем не была похожа на европейскую часть России. Я скучала по уютным городским паркам с большими садовыми скамейками, на которых в пору моего детства болтали между собой няньки, пока их подопечные играли в песочнице. Няньки лужгали семечки, и асфальт перед ними был причудливо покрыт шелухой; в солнечный день казалось, что она переливается узорами восточных ковров. Но Канада не Европа, не Москва, не Киев – там в цене дикая природа, парков в моем понимании не было, а в лесопарках по выходным происходили народные гуляния с дымом от барбекю, но не тем, что дым отечества, а с сильными запахами мультинациональных блюд, которые с непривычки мне не нравились. Я попробовала прогуливаться с новорожденным сыном в гипермаркете среди полок до потолка, заполненных всем, да не тем, – а даже если и тем... Я присматривалась к лицам. Толпы людей и... никого! Никто ни на ком не задерживает взгляд – никто, и я тоже. Они чужие и мне, и друг другу, их ничего не связывает, нет любопытства, ноль общих ассоциаций, нет «Двух капитанов», нет «Дикой собаки Динго», нет «Кортика», даже общих врагов нет. Редко, очень редко кто-нибудь задержит взгляд – и тут же: «Ах, простите, ошибка, я не хотел нарушать ваше личное пространство!»

Канадцы, несмотря на изобилие рас и народов, долго казались мне достаточно однородной массой, и все же постепенно индивидуальные черты стали проступать, как фото в проявителе, удивляя иногда неожиданными результатами.

Как-то раз в университете, где я читала лекции по русскому авангарду, я познакомилась с преподавательницей живописи – англичанкой «с лица необщим выраженьем». После занятий ее встречал муж, итальянский физик. Несколько раз они подвезли меня домой, и вскоре мы получили приглашение в гости. Кроме нас была еще колоритная супружеская пара – молодой японец-керамист с женой-американкой – профессором политэкономии, старше его на ощутимые годы. Когда она смеялась, часто невпопад, казалось, что она близка к истерике. Судя по всему, компания была нашего круга, и мы надеялась расширить светское общение. Мы оказались абсолютно не подготовлены к тому, что у интеллигентных людей, как мы это понимали в СССР, взгляды окажутся настолько несовместимы с нашими, что дело чуть не кончилось

дракой. После вялого с нашей стороны разговора о преимуществах социализма (наш пост-сталинский советский они за социализм не считали), начался спор.

– Испортили гениальную идею, – сетовала жена японца. – Вы говорите, Сталин убийца? Да он построил вам самую справедливую страну, победил фашизм. . .

– А ГУЛАГ, а расстрелы?

– Вот скажите, – профессорша ткнула своего японца пальцем в лоб, – если у вас на лбу сидит комар, а я, желая его убить, чтобы спасти вас от укуса, промахнулась и стукнула вас по лбу молотком, я убийца?!

– Смотря кого вы убили, – резонно заметил муж.

– Вас, вас убила. Случайно!

– А комара? – съязвила я, понимая, что терять мне больше нечего и дружбе капец. И продолжила ерничать: – Более того, у меня был коллега-художник по фамилии Комар (я сказала Mosquito), так он в соавторстве с другим художником прославился, и теперь их работы находятся в Metropolitan Museum. Да что там, они продают и покупают человеческие души, и сам Энди Уорхол недавно продал им свою!

Тут вдруг керамист-японец оживился, приподнял свои тяжелые веки, которые у японцев случаются раз в сто лет, и произнес:

– Я читал о них в «Art in America».

Но распаленная профессорша уже ничего не слышала.

– Да что вам этот комар! Заладили: комар, комар, – она раздражалась все больше. – Положим, я его тоже убила!

– Ну так вы дважды убийца, – примирительно засмеялся муж.

Во время дебатов моя коллега и несостоявшаяся подруга убегала на кухню, а итальянец попыхивал трубкой и в спор не вступал. Много позже мы узнали, что в Италии он был членом «Красных бригад» и до поры до времени скрывался в Канаде.

Натянув на себя канадские теплые парки, мы выскочили на улицу. Мороз стоял такой, что зубы стыли. Долго разогревали машину. . .

Для нас тогда было странно, что и в дальнейшем мы часто встречали западных интеллектуалов, особенно университетских, с подобными взглядами. Как детей не учит опыт родителей, так исторический опыт не учит человечество.

\* \* \*

И все же я нашла настоящего друга и единомышленника. Знакомству нашему предшествовала смешная история.

Надо сказать, что на квебекской почве с завидным постоянством вырастают большие, международно признанные таланты в самых разных областях искусства. Однажды в газете я увидела рецензию на выступление монреальской балетной труппы «La la la human steps» – уникальный балет с непредсказуемой хореографией. Я была заинтригована. В тот же вечер мы с мужем, захватив нашего гостя из Оттавы, приехали в какой-то невзрачный театр в центре города. Все билеты проданы, но я уже была копытом. Когда я чувствую, что то или иное событие меня может по-настоящему зацепить, вдохновить, в меня словно черт вселяется. Пропадает страх сцены, приходит смелость и рождается сюжет. Когда подобное происходит во время работы, кажется, что кто-то невидимый ведет тебя. Такое состояние часто приносит хороший результат.

Еще ничего не придумав, я направилась к кассе и, усиливая акцент, сообщила обалдевшей кассирше, что я – художник Большого театра, со мной два работника из российского посольства, и приехали мы специально увидеть балет «human sex» вашего прославленного коллектива.

- Ой, – сказала зардевшаяся от волнения девушка, – а меня зовут Татьяна.
- Неужели русская?
- Нет, только имя.

И она бросилась за менеджером.

Мужчины мои стояли притихшие. Я им только успела шепнуть, что английского они НЕ знают и НЕ понимают, как тут Танечка вернулась с менеджером. Он с некоторым подозрением посмотрел на нас и, слегка замешкавшись, подал руку «посольским», назвав свое имя. Тем ничего не оставалось, как назвать свои имена.

– Странно, – обратился он ко мне, – обычно посольские звонят заранее, предупреждают о своем визите.

Я пожала плечами – мол, откуда мне, художнику Большого театра, знать повадки советских чиновников.

– Татьяна, три контрамарки, пожалуйста.

Я бросилась доставать кошелек...

– Нет, нет, вы мои гости, – сказал он и растворился в темноте.

Я даже не успела его поблагодарить. Нас посадили за круглый столик прямо перед сценой.

Там уже шел перформанс. Три акробата-танцора подбрасывали и ловили партнеров, едва заметно касаясь друг друга. Один из них неопределенного пола не то с пушком, не то с нарисованной тенью под носом, был создан творцом из одних мускулов и сухожилий. Теперь-то я знаю, что это была невероятная Louise Lecavalier, которая танцует свой фирменный балет по сей день, в 65-летнем возрасте.

Через несколько лет после описанных событий я готовилась к очень важной персональной выставке. Мой агент Джон позвонил за несколько дней до открытия и сообщил, что интервью у меня будет брать известная в Монреале арт-критик, и к этому следует отнестись со всей серьезностью. Говорят, она сука и надо быть с ней очень осторожным, выбирать, что сказать, а что нет. Мы с тобой вечером встречаемся выпить пива с моим другом Мишелем. Он, известный опытный продюсер, научит тебя, как обходиться с массмедиа.

Я обожала Джона за его простодушные и одновременно деловые, полные поддержки письма в стиле Тео Ван Гога брату Винсенту. Письма веселили и трогали.

Мы пили пиво с креветками, и симпатичный продюсер подтвердил, что с Энн следует держать ухо остро, потому что до того, как стать арт-критиком, она была политическим журналистом и до сих пор любит задавать каверзные вопросы. На этом наука более или менее закончилась, и мы набросились на питье и еду. Потом, разморенные пивом, все молча покуривали, и тут я решила вдохнуть жизнь в увядший разговор. История была смешная. Я начала плести рассказ о том, как ходила на балет «La la la human sex»; название его отличалось от названия труппы одним словом.

На словах «...странно, обычно посольские предварительно звонят...» у меня и у продюсера одновременно отвисли челюсти, и мы уставились друг на друга... Джон переводил взгляд с Мишеля на меня и обратно. Немая сцена, минута молчания, гром среди ясного неба – мы узнали друг друга! Мне казалось, что эти гляделки никогда не кончатся. Но вдруг Мишель очнулся и произнес фразу, показавшую, что знаменитыми продюсерами просто так не становятся, а джентльменами рождаются.

– Человек, который приходит с такой историей, заслуживает бесплатных билетов, – сказал он, положив конец неудобной ситуации.

Вот какие события предшествовали моему знакомству с арт-критиком, которая стала первым покупателем моих работ, написала статью о той выставке и писала обо всех последующих.

До Энн английского в Канаде мне хватало с лихвой. Еще в школе я увлекалась английской грамматикой, особенно сложными ее временами, и поначалу, приехав в Канаду, исполь-

зовала их все, вызывая поощрительное удивление местных жителей. На бытовом уровне они, как и их предки, происходившие из разных стран и слоев общества, прекрасно обходились упрощенным в той или иной мере языком. С пониманием дело у меня обстояло хуже из-за мультикультурных акцентов и моего скромного словаря. Потом все это нивелировалось, моя повседневная грамматика тоже стала проще, а понимание улучшилось. Когда же появилась Энн, и наши разговоры перешли на другой уровень, я поняла, что эмиграция в иной язык, казавшаяся мне успешной, явно не дотягивает до свободного разлива родной речи.

Интервью проходило на кухне ее старинного дома в шотландском стиле. Внутри дом был чудо как хорош: высокие потолки, деревянная лестница с надежными резными балясинами. Зато снаружи... не сарай, конечно, но взгляду европейца не на чем остановиться.

У Энн было умное, красивое лицо, но какая-то печаль чувствовалась в нем. Она задавала вопросы, курила, варила кофе и опять возвращалась к интервью. Поколдовав в очередной раз над кофеваркой, она вдруг резко повернулась ко мне и спросила:

– А это правда, что если подружился с человеком из Восточной Европы, то это навсегда?

В этом простодушном вопросе было столько обаяния, что я даже вздрогнула, как будто прозвучала русская речь, по которой за пять лет я порядком соскучилась.

Конечно же, мы подружились! Навсегда, которое длилось не очень долго и закончилось ранней ее смертью.

Я вела машину по заснеженному Монреалю. Иногда я отрывалась от дороги и смотрела на свою лучшую подругу – sis, как называли мы друг друга. (Sis – от sister, хотя в Калифорнии у нее жила родная сестра, а рядом имелись муж и обожаемый сын, но более одинокого человека я не встречала.)

Я делила друзей на наших и англоговорящих. Английские предполагали некоторую работу над собой в смысле языка, с русскими было легче разговаривать, но тем часто не находилось.

Энн сидела, по привычке вдавившись в сидение, сцепив руки бубликом. Со времен небольшой автомобильной аварии много лет назад у нее развилась фобия, и она больше никогда не садилась за руль. Но и пассажиром она была тяжелым: хватала за руки, подсказывала, нервничала, вскрикивала, испуганно замолкала, как сейчас. В миру же... нет, веселой ее не назовешь, но зажигательной она была.

– Я бестия, – говорила она игриво и пела прокуренным контральто что-нибудь из «Порги и Бесс» или американских мюзиклов.

Изредка я косилась на ввалившийся профиль, на дурацкую лыжную шапочку, под которой был почти лысый череп с несколькими светлыми хлопьями вместо густых каштановых волос и стильной стрижки еще месяц назад, когда у нее обнаружили рак легких в последней стадии. Она много и давно курила, что очень нервировало ее двенадцатилетнего сына, и он читал ей нотации. Этому способствовала недавно развернувшаяся кампания против курения, поддержанная школой и СМИ. Теперь ее страх усугублялся чувством вины перед сыном, поэтому Энн решила сказать ему полуправду: «Рак – да, но не легких, а груди». За те несколько месяцев, которые оставались, ей еще предстояло пережить разного сорта разочарования. Кое-кто соорудил Берлинскую стену, как, полушутя-полурыдая, прокомментировала Энн, когда ее соседка, завидев нас, перешла на другую сторону. Я была возмущена. Вероятно, теперь я не была бы так строга... А тогда мы еще жили своей молодостью, а Энн вдруг предстала реальной границей между жизнью и смертью.

Мы ехали вдоль реки Святого Лаврентия. Был солнечный воскресный день, и на лед высыпала куча народу с собаками, санками, лыжами... Ни малейшего ветерка. Снежинки размером с блюдце мягко падали на все это живое великолепие. Энн попросила остановиться. Мы вышли из машины. Теперь в пейзаж добавились голоса, лай собак – резонанс на несколько километров. Звук, уплотненный эхом, был объемным, небо нависало голубым солнечным

куполом над широкой белой рекой с маленькими жанровыми сценками вдалеке. Мне даже не надо было смотреть на подружку, я чувствовала, как внутри у нее все обрывается.

– Поехали, – сказала я.

Мы молча сели в машину. Я свернула на дорогу, ведущую на скоростную трассу, – хватит этих красот, хватит!

– Дай руку, погадаю! – говорю я.

– А ты умеешь?

Глаза у нее затравленные, но, как тусклый свет в тумане, пробивается в них надежда.

– Кое-что знаю. Не много, но кое-что.

Энн стягивает перчатку и дает мне холодную лапку. Притормозив на светофоре, я разглядываю ее ладонь. Сзади гудят, но Энн это больше не беспокоит. Вероятно, ее организм понял, что автомобильная катастрофа – это не про нее...

– Ну, дорогая моя, что-то тут не сходится, – начинаю я. – Посмотри, это линия жизни. Видишь, где-то в середине она почти прерывается, а потом опять восстанавливается и вон куда, почти на пульс заворачивает.

Она тащится за этой линией, закатывая рукав куртки. Меня совсем «загудели», и я трогаюсь с места. Все кому не лень обгоняют нас, а некоторые показывают средний палец. Идите вы все на хрен, у меня тут подруга собралась умирать. Энн дрожит от нетерпения. Автомобильной фобии как не бывало.

– Sis, тут разрыв не в середине, а ближе к концу, – говорит она.

– Ты не торгуйся, все правильно. Сорок пять лет ты уже прожила; разрыв означает болезнь, но ты выкрутишься и проживешь еще тридцать. Не так мало.

Начало смеркаться. Энн включила лампочку над пассажирским сидением и погрузилась в изучение своей руки. Иногда она задает вопросы, и я отвечаю, как могу...

## 4

Что может быть скучнее чужих снов? Вопрос риторический, и я позволю себе рассказать один. Приснился он мне через несколько лет пребывания в Канаде и был этакой смесью советской пропаганды, голливудских фильмов, собственных незрелых выводов...

Во сне я оказалась в подвальном этаже, где происходила party домохозяек. Они празднично двигались с бокалами вина, обмениваясь птичьими приветствиями: «How are you, nice weather etc». Я никого не знала и не представляла, кто меня сюда пригласил. Неприкаянно я тыкалась то в одну группу, то в другую, пытаюсь заговорить, но никто не обращал на меня внимания. Уже уходя, я заглянула в приоткрытую дверь. За ней была довольно большая комната, вероятно выполнявшая функцию домашнего театра. На сцене, свесив ноги в зрительный зал, сидел рябой деревенский мужичок с круглыми карими глазами и ел здоровенный бургер из Макдоналдса. Он был весь в крошках, перемазанный кетчупом, а в жидкой рыже-белесой бородачке застрял кусок лука. На лице его играла смущенная улыбка, он явно стеснялся своей неаккуратности. В глубине сцены стояло кресло с высокой деревянной спинкой, напоминавшее мольберт. В крохотном зале несколько фуршетных дам ровняли ряды стульев. Одна из них, стриженная под мальчика блондинка, подошла ко мне. Вероятно считая, что я в курсе дела, она указала на рубильник возле двери:

– Когда к вам обратятся, все что нужно будет сделать, это воткнуть штепсель в розетку и включить рубильник.

Я ничего не поняла, но стало как-то не по себе.

– Что здесь происходит?

Она подвела меня к сцене и стала объяснять, что волноваться не о чем. Все будет готово: ремнями пристегнут к стулу щиколотки и запястья, а когда подойдет мой черед, мне останется только включить ток. Я вдруг почувствовала редкий в этих краях крепкий запах застоявшегося пота, который шел от маленького человека.

– Плата за работу – освобождение от налогов за этот год! – сказала блондинка. – Для новоприбывших, как вы, я думаю, это будет не лишним, тем более it's not personal – strictly business! (англ. Ничего личного – исключительно бизнес.)

Как будто разряд тока прошел через меня от невероятной диспропорции, несоответствия этих двух действий! Мужичок смотрел на нас теплыми карими глазами, застенчиво улыбался, согласно кивал, подбадривая меня. Теперь я поняла, что стул с высокой спинкой был ничем иным, как электрическим стулом, а рябой мужичонка, похожий на Платона Каратаева, – персонажем, которого сегодня пригласили на казнь. Я долго носилась с этим сном как с писаной торбой, подозревая, что есть в нем какая-то суть, понять которую я пока не могла.

Однажды в галерее современного искусства, куда мы зашли с Энн, я описала этот сон. Идея заинтересовала галериста, и он предложил мне подумать об инсталляции или видео на тему смертной казни, как она видится новоприбывшему из страны с тоталитарным режимом. Ситуация со смертной казнью в Северной Америке была тоже неоднозначна. В Канаде она редко, но все еще применялась, поэтому мой сон, если посмотреть на него под определенным углом, попадал прямо в сферу актуального искусства. Не случилось. Тогда я не мыслила себя в подобном формате, оставаясь преданной цвету, старомодно выражая это в живописи. К тому же меня больше интересовала общая картина мира, а не конкретная тема, и подобный проект мог занять много времени, а мне его почему-то было жаль, хотя не сказать, что я им так уж хорошо распорядилась.

\* \* \*

За пару лет до смерти Энн мы собрались за обедом в ее саду послушать нашу подругу, замечательную польскую художницу, которая только что вернулась из Саудовской Аравии, где преподавала арт в закрытом интернате для девочек из богатых семейств. Отсутствовала она в Канаде два года. Там ей щедро платили, а жадное до налогов канадское правительство не могло дотянуться до зарубежных доходов своих граждан. Мива, крупная *elegancki kobieta* (польск. элегантная женщина), полулежала в шезлонге и никак не могла начать рассказ. Вообще Мива это Мила, которая не выговаривает «л». Наконец, после нескольких стопариков водки мы узнали поразительные факты той жизни.

Интернат был оснащен великолепной библиотекой со всевозможными книгами по истории искусств, мастерскими со станками для шелкографии, офортов, линогравюр, дорогими наборами красок и пастелей. Готовясь к своему курсу, Мива испытала настоящий шок, когда, листая альбом Матисса, нашла, что все изображения интимных мест были жирно заштрихованы черным фломастером. В альбомах по Возрождению, импрессионизму, романтизму, модернизму все тоже было замазано. Сначала она решила, что шалят студентки, но позже преподаватели-иностранцы объяснили ей, что это была рука цензуры.

Мы внимали...

– И это сейчас, когда давно написана и ставится нашумевшая пьеса Ив Энслер «Монологи вагины»! – воскликнула Мива. – Ох, кобьетки, мои дорогие, это чужая цивилизация, и она часто открывается в мелочах и не только!

Богатые и знатные студентки под абайей – строгой традиционной накидкой в пол – носили брендовую одежду, туфли на высоких каблуках (лабутены пользовались большой популярностью); шкафы в их комнатах ломились от топовых сумок, ювелирных украшений и аксессуаров. Все делали макияж, а те, кто носил никабы, особенно старались выделить оставшийся островок лица, – ярко, по-театральному красили веки, глаза, ресницы, брови. В основном девушки оказались милыми, в меру любознательными, легко шли на контакт, но не понимали, почему их преподавателю штриховка в книгах казалась дикостью (свои взгляды Мива не скрывала).

В выходные дни профессора-иностранцы собирались вместе и ездили на пляж. Законы не предписывали им носить абайи или никабы, но одежда должна была прикрывать тело как можно больше.

Мы помолчали и еще раз выпили. Мива была погружена в тот мир, и мы, вероятно, казались ей пресными.

– Расскажи о самом неприятном и самом приятном, что ты там видела, – попросила Энн.

– Это было не неприятное, а страшное!

Мива и страх несовместимы. Среди нас она была самая отважная.

Однажды в выходной день она отправилась на базар в поисках старинных монет, из которых, просверлив дырочку, делала браслеты и ожерелья.

– Вы, конечно, представляете восточный базар; там всегда крикливо, но в тот день ближе к полудню обычный торговый шум сменился тревогой, лязгали жалюзи – магазины закрывались. Полиция широкими рядами прочесывала базар и что-то выкрикивала. Я побежала, но, завернув за угол, увидела, как прямо на меня идет другой отряд полицейских. Это была облава! Чья-то рука схватила меня и затащила внутрь... Я оказалась в ювелирной лавке. Хозяин, пожилой араб, запер дверь и крикнул по-английски: «Беги в подсобку! Полиция собирает народ на базарную площадь, там сейчас будет казнь!» Фактически через стенку от себя я слышала вздохи толпы и... зухр – полуденную молитву, после которой совершается казнь. Меня начало выворачивать. Добрый мой спаситель подставил тазик и поддерживал лоб, как когда-то делала

мама. Только ночью я пробралась в свою предоставленную школой квартиру и стала думать, как бы разорвать контракт (работать мне оставалось еще год).

Мы молчали.

– В Саудовской Аравии, – глаза у Мивы были словно повернуты внутрь, – смертная казнь для мужчин – это отсечение головы саблей, для женщин – побиение камнями.

– Охренеть, – выдохнула Энн.

Мы были пришиблены ее рассказом. Конечно, до нас доходили слухи, но тут живой свидетель в нескольких метрах от базарной площади! Каждый думал о своем. Я вспомнила сон про электрический стул. Первоначальное «приятное – неприятное» как-то истаяло, и про «самое приятное» мы даже не вспомнили. А вот Мива не забыла. Она сняла с шеи цепочку с серебряной монетой и положила перед нами.

– А вот это – самое лучшее, что там со мной случилось. Этой монете пятьсот лет, и подарил мне ее... принц на белом коне.

Она улыбнулась, слегка приоткрывая десны:

– Отгадайте, кто был сей принц?

Мы не знали.

– Старый саудовец – хозяин лавки, а монета – мой счастливый талисман, – закончила Мива и, поцеловав монету, снова надела ее на шею.

## 5

*А в Москве продолжалась подготовка родительской квартиры к ремонту. В конце ноября 2019 года на улице было зябко, а в доме так жарко, что мы обливались потом, плохо спали и никак не могли сообразить, с чего начинать день. После многочасовых поисков в интернете, чтения отзывов, интервью с двумя-тремя прорабами в день мы неожиданно для себя остановили выбор на последнем претенденте. Это был невысокий полноватый мальчик лет сорока из Молдавии с хорошим русским, который на предложение составить контракт сказал:*

*– А зачем? Я же назвал сумму за квадратный метр. А так, чего писать, время терять, – по рукам и все. Вернусь через месяц, и начнем.*

*Он уезжал на Рождество в свою молдавскую деревню. На том и расстались. Почему мы, люди подозрительные, рыская по интернету и проверяя отзывы о других ремонтниках, остановились на нем, я не знаю. Цены его мало чем отличались, а сроки ремонта при всего двух работниках звучали нереалистично – два месяца, но, увидев мои подскочившие брови, он согласился на два с половиной. Другие называли от четырех до шести месяцев. С удвоенными силами мы бросились разбирать квартиру, звонить перевозчикам, искать склад для вещей и квартиру для себя на время ремонта.*

Однажды я приехала в Москву (дело было в начале перестройки) в компании двух галеристов и кураторов современного искусства, которые, почувствовав зарождающуюся на Западе моду на «бедное русское», собрались погулять по мастерским.

По Москве бродили женщины – распространительницы гербалайфа. В России тогда только появился сетевой маркетинг, который в Канаде уже сходил на нет. В нашем монреальском пригороде на дверях соседей висели списки, чего именно не следует предлагать. Почетное место занимали свидетели Иеговы, гербалайф и такие чистые стиральные порошки, что, по утверждению распространителя, их можно есть. Тут же следовала наглядная демонстрация. Но у этих русских женщин такие симпатичные, доверчивые лица, что я покупаю у них две пищевые добавки и дарю кураторам.

– Здоровья вам, – желают нам вслед.

Я привела кураторов в дом родителей на чай. Они скучали весь вечер, не обратив внимания ни на картины нонконформистов (для них это не современно), ни на пейзаж за окном. В. П. сказал:

– Какие нелюбознательные люди! Даже на гвозди Юккера не посмотрели.

У родителей со шкафа свешивались на веревке три тридцатисантиметровых гвоздя знаменитого мастера инсталляций, классика послевоенного немецкого искусства Гюнтера Юккера.

В Рейхстаге есть небольшая комната – молельный дом для трех главных религий мира: христианства, иудаизма и ислама. Условный христианский крест сделан из таких же гвоздей, торчащих острыми концами на зрителя. Длина их слегка варьируется, отчего они по-разному отражают свет, создавая сложный объем и мерцание. Я была под сильным впечатлением от этой его инсталляции.

Гвозди Юккера имеют еще свойство петь. Об этом я узнала много позже, когда осталась с ними один на один. Летом я креплю их в проем распахнутого окна, и они исполняют Песнь песней, дрожа на ветру, позвякивая то нежно, то по-заводскому, в зависимости от силы сквозняка.

– Уверена, мои парни не ожидали увидеть здесь Юккера, поэтому их рецепторы не включились, – засмеялась я. – Все же Квебек – это не Мекка современного искусства, как Нью-Йорк,

Берлин или Лондон. Мальчики – типичные представители провинциальных галеристов, ну... как Фамусов – типичный представитель московского дворянства или Катерина – луч света в темном царстве.

В. П. расхохотался. Он ценил мои глупости, и я об этом знала, поэтому старалась как могла. Мама прискакала из кухни, а за ней мои дети, ее внуки:

– Чего смеетесь? Скажите, мы тоже хотим.

Мама любила, когда смешно, но сама шутить не очень умела, часто получалось обидно. А нам и сказать-то нечего. С чего это мы так развеселились, вроде как никаких причин не было. Свернули все на кураторов... Мама тут же подхватила:

– Они даже на вид из окна не посмотрели!

– Зато они не отрывали взгляд от твоей красоты!

Мама парировала:

– Что он Гекубе, что ему Гекуба, когда они голубые?!

Дети, к счастью, не знали, что такое «голубые», а то нам пришлось бы прослушать *deadly serious* (англ. смертельно скучную) нотацию на эту тему, а так они присоединились к стебу взрослых, напомнив мне героев фильма «Семейка Адамс», недавно вышедшего на экраны.

Как-то вечером, после удачного похода в мастерскую очень актуального на тот момент художника, мы ужинали с нашими кураторами в ресторане Союза художников на Гоголевском бульваре. Помню обезумевшую мышь, носившуюся по залу, где, кроме мороженого из манки, какой-то отбивной и подозрительного салата оливье, было шаром покати. Эта мышь засела у меня в голове, как символ Москвы конца восьмидесятых – перехода от скудности к неприличному богатству.

\* \* \*

Все, что происходило в Москве в начале девяностых, мы, жители Канады, плохо понимали. С одной стороны, словно смотришь голливудский фильм про мафию тридцатых в Америке – перестрелки и убийства в центре города, отрезанные части тела, пропажа людей, много престижных авто и заоблачных красоток, смешные наряды нуворишей, навороченные, с золотыми перстнями и цепями, качки. С другой стороны, у многих социально близких мне людей глаза горели надеждой. Вся картина меняющейся страны была как бы написана широкой кистью, хотя со временем детали прибавлялись. С иного ракурса помогла мне увидеть это время симпатичная и болтливая «новая русская» на пляже в Сан-Себастьяне. Наши лежаки оказались поблизости, и, когда муж ушел в отель, она под села ко мне. Звали ее Ариадна – красиво. Я не стала уточнять происхождение ее имени. Женщина с женщиной всегда найдут какую-нибудь тему, и вскоре мы договорились до перестрелок. Узнав, что я из Канады и мало что понимаю в происходящем в Москве, она решила меня просветить. В рассказе ее было несколько тем, но запомнила я одну, даже мысленно увидела ее в 3D.

– Мы с мужем выезжали утром в офис, а в багажнике у нас было оружие, автомат и пара ТТ, – начала она, втирая крем для загара в стройные, но слегка подпорченные широкой шиколоткой ноги. Уж не знаю, чем они там занимались, но представила она это дело как личную оборону, и в словах ее слышался мотив «как нелегко нам было».

– Ничего себе! А если бы гаишники остановили?

– Так и останавливали, но у нас же письмо было, – засмеялась она.

– Письмо от Самого? – догадалась я.

– Не-е, скорее заявление. В нем говорилось, что мы нашли в лесопарке оружие и теперь везем его на Петровку.

– Но вы же не могли находить по автомату в день?

– Конечно нет, зато дату на письме меняли ежедневно, – сказала она, наслаждаясь моим растерянным видом. – К сожалению, эта лафа недолго просуществовала.

Расставались мы как лучшие подружки. Уже на выходе с пляжа мне что-то пришло в голову, и я закричала:

– А что, если бы попался тот же гаишник?

Она не сразу поняла, но потом засмеялась и показала пальцами счет – 1:0 в мою пользу. На самом деле счет был в ее пользу, она сумела дать мне, почти иностранке, почувствовать живой нерв той бурной эпохи.

С каждым приездом я видела, как меняется Москва. Даже москвичи, изо дня в день наблюдавшие за преобразованиями, поражались скорости, с которой они совершались. Это были тучные годы, и даже смерть, угадав новое время, стала вести себя щадяще по отношению к престарелым клиентам, отыгрываясь на молодых, которые заполняли кладбища, часто тесня старые захоронения. Как грибы после дождя разрослись памятники из полированного гранита с изображениями парней в полный рост с мобильными телефонами на фоне «мерседесов».

\* \* \*

Когда новые русские стали заказчиками моих монументальных проектов, мой кругозор расширился.

До поселка на Рублевке меня подвез архитектор. В тот раз темой росписи был райский сад. Надо сказать, что чуть ли не каждая большая стена – ее масштаб – вдохновляет меня. Мне нравится, когда моя живопись-фреска-панно становится частью архитектуры, а не скучно висит на стене. Что такое Рублевка, известно даже на Западе, и первое знакомство с ней обещало быть познавательным. От шлагбаума до «моего» дома нужно было идти минут двадцать мимо дворцов, обнесенных кованными оградами. За некоторыми еще дежурили вооруженные охранники с огромными псами, и это несмотря на то, что вся территория поселка окружена высоким забором с несколькими пропускными пунктами. Роскошные корабельные сосны и графичные березы, мирное журчание ручейков и водопадов, ловко вставленных в пейзаж ландшафтными дизайнерами, создавали настрой на тему Рая, который мне предстояло изобразить. До нужного особняка оставалось минут десять, когда хлынул дождь. Хорошо, у меня был зонтик. Проходя мимо глубокого котлована, вырытого под искусственное озеро, я заметила рабочего-таджика. Он раскачивался, сидя на корточках, и потоки воды стекали с его крючковатого носа прямо в яму. Казалось, он молился в такт своим покачиваниям. Занимался он работой бесполезной, просеивая через деревянное сито уже намокшую и прилипшую к сетке землю, но его это ничуть не беспокоило. Испачканные красной глиной волосы казались рыжими, делая его похожим на намокшего петуха.

Заканчивая роспись на Рублевке, я с удивлением заметила, что среди садов и райских птиц затесался петух. Я его точно не планировала, да и на эскизе он отсутствовал. Видно, написала я его бессознательно, а художественный образ его возник... Да черт его знает, откуда...

Уже в нулевых мне предложили сделать фреску для жены русского олигарха, кажется из игорного бизнеса. Она назначила мне встречу в конференц-зале какого-то московского небоскреба, чтобы обсудить проект. Силы небесные! Такой пошлой роскоши без тени юмора я не видела даже в Лас-Вегасе, где как художник-монументалист бывала несколько раз, удивляясь точному соответствию замысла и предназначения этого Города Греха.

Лиза, как звали весьма пикантную женщину, только что вернулась из Милана, куда в выходные летала на шопинг. Чем-то она напомнила мою новорусскую приятельницу на пляже в Испании, хотя та была много проще. Мы поднялись на скоростном лифте и вышли на крышу. Как и небоскреб, крыша принадлежала ее мужу, «права на воздух» были оформлены, и созрел план построить здесь тайный офис для своих – с бассейном, турецкой баней, кабинетом и про-

чим. На крыше ветрено, внизу Москва, вокруг охрана. Если при встрече жена олигарха выглядела как Лиза, то теперь это была Елизавета – властительница ночного мегаполиса, огнями сияющего внизу. Она проходит вперед, профиль ее твердеет, ветер полощет черную юбку из жесткой и пышной тафты с малиновым, «булгаковским» подбоем. Я думаю, она это тоже знает. Змейками извиваются, путаясь между ногами, нити, торчащие из подола в соответствии с модой того года, и только необъяснимо неподвижно стоят вздыбленные гелем волосы, как корона, венчающая правильные черты.

Проект я сделала, но самое интересное в нем была она – моя царственная заказчица, представительница новой реальности.

## 6

Мой родной отец был похож на итальянского киноактера. Он и мама представляли собой красивую пару. Когда они шли вместе, люди оборачивались. Но вместе у родителей не очень хорошо получалось – они ссорились.

С В. П. меня познакомила мама. Мне было семь лет, и мы гуляли с ней по Крещатику. Если вы идете от Бессарабского рынка в сторону Днепра, правая сторона главной улицы Киева имеет три уровня – проезжая часть, широкая пешеходная, далее подъем в несколько ступеней и каштановая аллея, где мы с мамой идем вдоль высоких домов сталинской архитектуры. В тот теплый осенний день при малейшем порыве ветра каштаны падали на асфальт с уютным шорохом и разбивались. Моя ладонь до сих пор помнит мягкое покалыванье иголок зеленой скорлупы, а язык – прохладный, свежий вкус его плода. В очередной раз, бросившись за упавшим каштаном, я наткнулась на рыжего дядечку. Вид у него, как мне показалось, был слегка нашаливший. Но тут я услышала голос мамы:

– Здравствуйте, какая неожиданная встреча! А это моя дочь, познакомьтесь.

Теперь мы гуляли втроем. Я косилась на взъерошенного дядечку. Вдруг он улыбнулся лично мне и спросил, не хочу ли я мороженого. Господи, могла ли я не хотеть мо-ро-же-ное?! С того момента, как меня разлучили с соской и познакомили с этим яством, я полюбила его страстно и на всю жизнь!

Дядя был необыкновенным – стоило мне съесть одно, он тут же, несмотря на мамины слабые протесты (видно, хотела показать, что характер у нее ангельский), покупал следующее. А Крещатик, если кто не знает, длинный, тем более что прошли мы его от начала и до конца дважды.

По дороге стук да стук  
едет крашенный сундук...  
Отличное,  
Заграничное,  
Клубничное,  
Земляничное  
Морожено!..

От этих стихов Маршака, которые иллюстрировал чудесный художник Лебедев, во рту у меня до сих пор становится сладко и холодно, и, несмотря на запрет врачей, я бегу за мороженым.

\* \* \*

Пока родители выясняли отношения, меня в основном воспитывали двор и неграмотная няня. Мне был необходим еще кто-нибудь. Вот тогда я и увидела в книжке изображение Маугли (мальчика на меня похожего), и на несколько лет он стал моим imaginary friend. В балконной двери отражались наши черные волнистые волосы и гибкая походка одинокого человека-зверя в джунглях, где цветут лианы и болотные лилии. Когда в доме становилось шумно и тревожно, черная пантера Багира успокаивала нас мудрым словом и шершавым языком. Роль Багиры исполняла белая фарфоровая статуэтка куницы с рыжим пятном на морде и на хвосте, которую я, конечно, кокнула. Чтобы мне не попало, няня ее склеила, но сделала это грубо, и нас разоблачили. К моему удивлению, наказания не последовало, родителям было не до куниц – развод был в самом разгаре. Почти каждый день я подвергалась тайному допросу. То мама, то

папа ласково требовали от меня решить, с кем из них я предпочла бы жить. Об этом меня мог спросить судья, но обошлось, а я упрямо хранила молчание. По сей день я страшусь любого выбора, даже выбор между двумя пирожными вызывает у меня смятение.

После развода мама вышла замуж за В. П., и наступила для меня счастливая эпоха мороженого... В руки В. П. я попала сущим Маугли, то есть ребенком мало цивилизованным. Но времени впереди у нас с ним оставалось достаточно, чтобы поработать над моим портретом. Он лепил меня своим единомышленником, и я с восторгом воспринимала все его науки.



*Мама и В. П. в 1960-е годы*

Это был счастливый брак людей одной профессии, живших празднично, ярко на фоне хрущевской оттепели. После войны и сталинского ужаса, когда неожиданно «включили свет», наступило их время. Собирались гости, танцевали рок-н-ролл, устраивали домашние аукционы, участниками которых были так называемые художники-формалисты... Застолье длилось до глубокой ночи. Юнна Мориц, приехавшая из Москвы, рассказывала, пока я делала с нее наброски, как они с Белкой (Ахмадулиной) в гардеробе ЦДЛ небрежным движением скидывали на руки поклонников свои шикарные кроличьи шубки. (При разборе родительских архивов я нашла эти наброски, сохраненные любящими руками.) Григорий Поженян читал у нас (если это не аберрация памяти) знаменитое «Я другое дерево».

Дядя Лев с невероятно подходящей ему фамилией Стиль водил белую «Волгу», играл на гитаре, впервые познакомив Киев с песнями Булата Окуджавы. Успех его у женщин был невероятным! Он не только напоминал дьявола-соблазнителя – он им был. Из случайно услышанного, а может подслушанного разговора я узнала, что дядя Лев собирался разводиться с очередной женой, которую ранее увел от мужа вместе с девочкой моего возраста. Это была не новость, так как мама по несколько часов в день утешала по телефону его миниатюрную

жену с осиной талией. Слухи ходили, что добивается она такого результата путем промывания желудка после каждого приема пищи. Заинтересовало же меня совсем другое, а именно теория «билета в нагрузку», которую, подозреваю, разработал сам В. П. Кроме джинсов и всего остального, дефицитом были билеты на хорошие спектакли. Если их вдруг выбрасывали в театральные кассы, да еще и по госцене, то везунчики-счастливчики получали в нагрузку еще один билет на какой-нибудь самодеятельный концерт или пьесу о колхозной жизни.

– Слушай, – говорил В. П. дяде Льву, – раз увел из стойла женщину с ребенком, автоматически становишься ответственным за него по теории «билета в нагрузку».

– Что это за теория такая? – с подозрением спрашивал тот.

– Ну как же, если приручил чужое дите, вне зависимости от дальнейших отношений с его матерью, ты ему обязан.

Билетом в нагрузку была я! Какая замечательная теория – полная гарантия безоговорочной любви!

К сожалению, дядя Леня не внял, а вскоре женился снова и родил себе собственного ребенка, но в тот раз «билетом в нагрузку» оказалась жена. Через несколько лет, разведясь с ней, он украл сына и скрылся. Его следы находили сначала в Подмосковье, потом в Америке, а потом тишина – по-видимому, его век закончился.

Еще был Виктор Платонович Некрасов, знаменитый писатель, которого друзья и собутыльники нежно называли Викой.

Мне пятнадцать лет, зима, мы с мамой возвращаемся, потрясенные, с закрытого просмотра фильма Феллини «Дорога». Прекрасен и чуден Город в сгущающихся зимних сумерках, когда дворники скребут тротуары, а на каштановой аллее блестит меховая опушка сугробов, словно толстый слой ваты, зажатый между рамами окон, сверкает слюдой искусственных снежинок. Из Пассажа выходят на Крещатик крошечная, как Джульетта Мазина, старушка под руку с сыном Викой, который пытается приспособиться к ее семенящему шагу. Пока мама, склонившись над Зинаидой Николаевной, о чем-то с ней разговаривает, Виктор Платонович интересуется, что я делала две недели назад в Москве в гостях у Лунгиных, где он меня мельком видел.

Вдруг моя мама, обожающая всякого рода совпадения, захлопала крыльями вокруг Зинаиды Николаевны. Оказалось, что детство и молодые годы Виктора Некрасова прошли в большом доходном доме на Кузнецкой, 24, где позже, в восстановленном пленными немцами семиэтажном здании, жили до развода мои родители и где родилась я. Видно, те несколько лет, проведенные в разные годы в одном пространстве, не прошли для нас обоих даром.

Я уже жила в Москве, когда нам с моим первым мужем выпала честь мирить Некрасова с сестрой знатного киевлянина Михаила Афанасьевича Булгакова, с которым первый бесспорно чувствовал родство.

«...Над двухэтажным домом № 13, постройки изумительной в саду, что лепился под крутейшей горой, все ветки на деревьях стали лапчаты и обвисли. Гору замело, засыпало сарайчики во дворе – и стала гигантская сахарная голова. Дом накрыло шапкой белого генерала...» Это цитата из романа «Белая гвардия», переделанного позже Булгаковым по заказу МХАТа в пьесу «Дни Турбиных». И пьеса, и роман основаны на воспоминаниях о жизни его семьи в Киеве времен Гражданской войны. Город, который писатель всегда пишет с заглавной буквы, очень топографически узнаваем. Как-то, гуляя, Некрасов спускался по крутому Андреевскому спуску на Подол (район в низинной части города). Дело было в 1967 году, всего через год после первого полного издания романа «Белая гвардия» и первой публикации «Мастера и Маргариты» в журнальном варианте. Пройдя замок Ричарда Львиное Сердце – жилой дом на горе в стиле британской готики, он заметил у его подножия двухэтажный особняк. И тут его осенило. По всем приметам Турбины – герои романа – на самом деле сами Булгаковы, а Алексеевский спуск, конечно же, Андреевский. Некрасов даже вспомнил, что в романе семья снимала второй

этаж у малоприятного домовладельца Василия Лисовича по прозвищу Василиса, о котором автор отозвался нелицеприятно: «...инженер и трус, буржуй и несимпатичный...».

Недолго думая, Виктор Платонович позвонил в дверь особняка. Открыла ему пожилая женщина – как оказалось, дочь того самого домовладельца, которая, несмотря на свой тогда юный возраст, хорошо помнила шумных и веселых квартиросъемщиков, мешавших спать ее родителям. Расспросив ее хорошенько, Некрасов опубликовал об этом очерк в журнале «Новый мир», с чего в Киеве начался булгаковский бум. Как замороженные, шли киевляне с самодельными картами по бульжникам Андреевского спуска к дому 13 под горой, где каких-нибудь пятьдесят лет назад пылал камин, в девятый раз пили чай, играли на рояле, напевали арии из «Фауста», а напольные часы «били время башенным боем», приближая катастрофу к их хрупкому уюту.

С Надеждой Афанасьевной, сестрой Михаила Афанасьевича Булгакова, познакомил меня первый муж. При встрече я рассказала ей, какое паломничество устроили киевляне к их дому на Андреевском спуске благодаря расследованию и очерку Виктора Платоновича. Пока я говорила, лицо Надежды Афанасьевны мрачнело.

– Да он мне своими расследованиями испортил отношения с дочерью Василия Ивановича, с которой я состою в многолетней переписке. Она ухаживает за могилами наших родителей на Байковом кладбище, а он так нелицеприятно написал о ее отце. И вообще, Америку открыл, все давно знают, где жил Миша.

Я остолбенела. Виктор Некрасов был герой многих поколений киевлян. Его любили за талант, порядочность и редкое обаяние даже те начальники, которые его гнобили. Киевские евреи вообще души в нем не чаяли за Бабий Яр. В 1966 году впервые была прорвана блокада многолетнего замалчивания трагических событий, случившихся здесь 29 сентября 1941 года. На двадцать пятую годовщину со дня расстрела евреев в Бабьем Яру состоялось не санкционированное властями мероприятие, переросшее в стихийный митинг. В этой толпе без трибуны и микрофона Виктор Некрасов, воевавший в Сталинграде и написавший об этом честную книгу «В окопах Сталинграда», стал голосом толпы.

– Да, – сказал он, – в Бабьем Яру были расстреляны не только евреи, но только евреи были расстреляны здесь лишь за то, что они были евреями.

И вот теперь родная сестра обожаемого всеми Михаила Афанасьевича смертельно обиделась на не менее обожаемого Виктора Платоновича! Мне тоже было обидно, но я не могла не признать некоторой ее правоты. Мы с мужем решили их помирить. Я была уверена, что стоит им познакомиться, и Надежда Афанасьевна немедленно попадет под его обаяние и растает. Так оно и вышло!

## 7

Лет в девять, увлекшись детективной и приключенческой литературой, я решила стать следователем. После смерти Сталина шпиономания, которая цвела пышным цветом, подуwała, но все еще была жива, наполняя литературу острыми сюжетами, психологическими головоломками, загадочными убийствами. Я все больше укреплялась в мысли идти по выбранному пути, но непонятно было, как осуществить мечту девочке из интеллигентной семьи искусствоведов.

Однажды этажом выше (как раз в том доме, где до войны жил Некрасов) у нас появились новые соседи: тихая, бледная девочка Нюся, моя ровесница, точно такая же мама, только старше, и, как противовес их робости и худобе, толстый Игнат Петрович – следователь, можно сказать коллега... Я сообразила, что через знакомство с Нюсей можно подобраться ближе к ее отцу и подробно расспросить о его работе. Но уже через несколько дней после их вселения сверху стали раздаваться крики. Дядя Игнат, как говорили взрослые, истязал своих женщин. В те времена методы воспитания были иными, чем сейчас, и детей поколачивали, но не с такой же частотой и зверством! Иногда кто-нибудь вызывал милицию, но, видно, ничего следователю за это не было, так как он, передохнув немного, возвращался к привычным делам. Однажды, столкнувшись с Нюсей в лифте, я хорошо разглядела кровоточащую губу. Лифтерша все пыталась заслонить собой девочку, покрасневшую от моего бестактного разглядывания... В моих глазах не только профессия, но и само слово «следователь» были скомпрометированы. Из-за Игната Петровича я упустила шанс стать Шерлоком Холмсом.

Зато случились автопортреты – предтечи селфи.

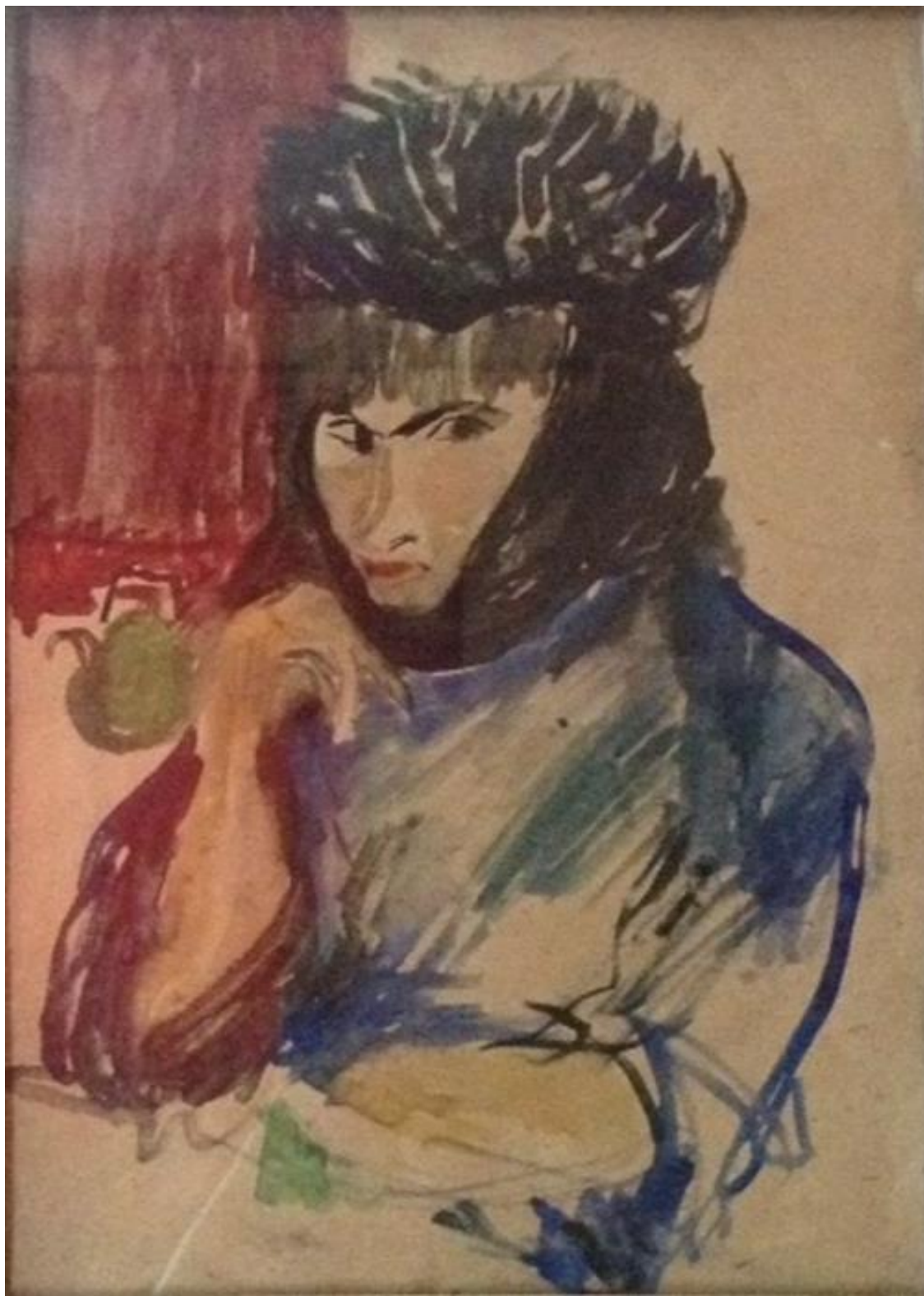
Началось все с первого в жизни автопортрета, который стал для меня судьбоносным. Мама привезла из командировки в Самарканд тюбетейку, богато расшитую цветным бисером. Я надела ее... Из зеркала смотрела девочка с волнистыми темными волосами ниже плеч, с персиковым румянцем на смуглом лице, из страны, где «в небесах другие плещут звезды...». Я полезла на антресоли и достала этюдник, оставленный там гостем из Одессы. А вечером к нам пришла знаменитая художница Татьяна Ниловна Яблонская. Родители работали над ее монографией и дружили с ней. Портрет на картонке сох у стены и попал в поле ее зрения.

– У девочки невероятное чувство цвета! – воскликнула она, чем и решила мою судьбу.

Я поступила в художественную школу, и с этого момента началось путешествие во времени и пространстве «девочки на шаре», как прозвали меня друзья родителей – художники и искусствоведы, не так давно познакомившиеся с искусством Пикассо. Следующий автопортрет был написан акварелью, когда я была в дурном расположении духа. Сама прелестная техника акварели, как я надеялась, могла исправить мое настроение. Я предвкушала, как, побрызгав водой подсохшие кюветки, оживлю их, наберу на мокрую кисть цвет, и потечет он по бумаге, свободно смешиваясь с другими цветами. Наша домработница, заглянув мне через плечо, не то уважительно, не то критически сказала:

– Старая ты головушка!

Вместо живой, с подвижной мимикой девочки в этот раз на меня смотрела взрослая, чрезвычайно сосредоточенная женщина, с которой в пятнадцать лет я еще не была знакома!



*Автопортрет автора в школьные годы*

А через много лет я написала автопортрет, подводя какой-никакой итог, запечатлев себя уже в другой эпохе и на другом континенте с шаром перекати-поля вместо головы. Легкий клубок сухих растений, подстегиваемый ветром, несется вприпрыжку, катится и собирает впечатления. Прожив юные годы в Киеве, я уехала в Москву, где задержалась на много лет, а затем улетела в Монреаль и, прогостив там дольше, чем где-либо, вернулась в московский отчий дом

строить запруду в попытке задержать время. У меня не было желания начинать все сначала, но была безрассудная отвага выйти из-под контроля судьбы и тем самым свою судьбу осуществить. Знаете, как говорят в Америке: «Get free, rich, beautiful or die trying!» (англ. «Стань свободным, богатым, красивым или умри, пытаясь!»)

\* \* \*

В детстве мне подарили книжку-раскладушку с фигурами людей, животных, пиратских кораблей, дворцов, поднимающимися на странице при ее раскрытии. В закрытом виде это был плоский, никаких чудес не предвещающий альбом, в раскрытом – сложная иллюзия трехмерного, многопланового и одновременно плоского мира! Я рассматривала его часами: каждый разворот предлагал свой вариант бытия и непоследовательность времени, разрывов не ощущалось, а богатство выбора увлекало.

Время и сейчас представляется мне книжкой-раскладушкой или слоеным пирогом, пропитанным личным опытом. Я существую в каждом из слоев, и мне удобно в непредсказуемом их движении, – то один слой поднимется ближе к поверхности, а другой погружается вглубь, теряя абрисы, то вдруг все слои дрейфуют вместе, видимые одновременно.

В одном из автопортретов, уже осуществив акт непослушания, я как отправной точкой воспользовалась выцветшей черно-белой фотографией. Там девчужка лет шести в белых трусиках внимательно строгаёт перочинным ножиком палочку. Фоном ей служит полный движения полуабстрактный пейзаж, где перекрещиваются линии и горизонты, образуются узлы дорог, где небо сворачивается в свиток, но девочка пребывает в состоянии полной сосредоточенности, подчеркивая парадокс двойственности времени, которое способно пребывать в динамике и статике в одном месте, на одном холсте.



*Автопортрет «Девочка строгает палочку»*

В своей живописи явно или завуалированно я стала использовать текст, которого со временем становилось все больше, пока он не покрыл половину площади холстов. Тогда я обратилась к тексту напрямую, без посредников, и, решившись на расследование собственных приключений, начала серию автопортретов на фоне стран и городов, людей и событий, сомнений, рефлексий и творчества, в новой для себя технике – слова и сюжета... Многие мои эксперименты пришлось на Канаду; позже я запустила время вспять, двигаясь по направлению к дому, как рыбы во время нереста.

## 8

Первые несколько лет я жила в незнакомой стране, в абсолютно чужом пространстве северной степи, где я пребывала в ожидании... Мой сын буквально вылупился из яйца, которое я носила впереди себя. Я знала, что будет мальчик – при девочках, мне говорили, живот круглый. Девять месяцев я прислушивалась, чтобы не помешать тому, кто развивался внутри. Ожидание выражалось в разглядывании пейзажа, окружавшего мой первый дом на новой земле. Ничего менее выразительного я в своей жизни не видела: равнина, куда ни глянь, и скучная черта на заднем плане между небом и землей, обозначающая горизонт. Время здесь вело себя странно. С одной стороны, оно стояло на месте или вяло тянулось без каких бы то ни было отличительных признаков. Но один раз в неделю, в «мусорный день», начиналась большая движуха, застывшее было время вдруг просыпалось, и начиналась круговерть местного масштаба! На обочину дороги весь околоток выкатывал баки с мусором – черный для смешанных отходов, синий для вторсырья. На крышки баков клали камни или кирпичи как защиту от диких животных – енотов, лисиц, белок и скунсов. Не успеешь оглянуться – неделя прошла, и снова мусор!

Зимой горизонт часто исчезал, равнина и небо становились однородным белым листом ватмана. Лето наступало мгновенно, без предварительной весны. Поле, где дети играли в футбол, сначала весело зеленело, но лето внезапно кончалось, а короткая осень не приносила ожидаемого многоцветия преобразующейся листвы. Объяснялось это тем, что здесь было мало деревьев, и за ними приходилось ездить. Во время беременности, пока муж был на работе, я садилась в машину и, стараясь не прижимать живот к рулю, ехала в чахлый парк (в северном климате большие деревья не успевают вырасти), чтобы чуть-чуть пошелестеть опавшими листьями под ногами.

В нескольких часах езды на машине находились дикие, мрачно-прекрасные, пугающие масштабом Скалистые горы. Здесь же даже отголоска гор не ощущалось. На длинный уикенд муж сажал меня в наш огромный винтажный «бьюик», и мы ехали в горы, к ледникам, гейзерам, медведям и лосям, выходявшим прямо на хайвей в надежде на подачку. Иногда я была склонна считать, что эта страна с непроходимыми лесами, холодными водами озер предназначена не для человека, а для бобров, хищников и болотных птиц. Мы ехали и пели песню каторжан, которую впервые услышали в СССР в фильме «Прошу слова»:

Угрюмый лес стоит вокруг стеной,  
Стоит, задумался и ждет.  
Лишь вихрь в груди его взревет порой.  
Вперед, друзья! Вперед, вперед, вперед!

Однажды скучный горизонт в окне несказанно удивил меня, устроив один из самых незабываемых перформансов. На пустом столе равнины возник торнадо, оповестивший о своем приближении грохотом наезжающего поезда. Прямо перед моими окнами развевался на ветру хобот размером с шестиэтажный дом. Ключья туч сталкивались и боролись внутри него, отчего возникали огни и молнии. Бежать было некуда. Все эти словно нанесенные ветром новостройки не выдержали бы такого столкновения. Я была настолько загипнотизирована зрелищем, что не успела по-настоящему испугаться. К счастью, вихрь изменил направление и, зло воя, помчался назад по степи. У меня отошли воды, а на следующий день родился сынок.

А в какой-то момент напротив нашего дома построили католическую школу, которая сыграла важную роль в моей художественной карьере. Однажды, когда сын крепко заснул после дневного кормления, я выскочила из дома, повторяя про себя: «...Мне к людям хочется,

в толпу...», перебежала на другую сторону и вбежала в школу. Был какой-то католический праздник, и кроме приветливой секретарши в школе, казалось, никого не было. На пока еще британском английском, используя все полагающиеся времена глаголов, я сказала:

– Я живу напротив. Я никого не знаю, но очень хочу работать в вашей школе... Кем угодно, – добавила я.

– А что вы умеете делать?

Я растерялась. В своей постродовой депрессии я об этом даже не подумала.

– Я, я могу... убирать.

– Но у вас же, наверное, есть профессия?

– Я художник, но пусть это вас не смущает, – извинилась я за никчемность, как мне казалось, этой профессии посреди степи без осени и весны.

– Почему же, – сказала женщина, – католическая община как раз объявляет конкурс на монументальную живопись для школ. Пойдемте, я вас представлю директору.

Добрая женщина сама не понимала, что в этой северной пустыне напоила жаждущего и умирающего, и дело это, по разумению моему, заслуживало всякого небесного поощрения. Выиграв конкурс, я несколько лет лихо расписывала стены католических школ фауной и флорой, детьми и святыми, давая им имена всех, по кому скучала, тайно вписывая их в складки одежды, в лепестки цветов, в крылья ангелов и птиц. Так я впервые ввела текст в свою живопись.

Сын подрастал, и нас начинало беспокоить его затянувшееся молчание. Ему вот-вот должно было исполниться три года, а все, что мы от него слышали, было «хай» и «бай». Это не мешало ему общаться с соседскими детьми – китайскими с одной стороны, польскими с другой, и смотреть по ТВ передачи на английском и французском. На ночь я пела ему русские колыбельные песни. Настоящих я не знала, не помнила, но «Хазбулат удалой» и «Коля, Коля, Николай, сиди дома не гуляй» делали свое дело, и сынок засыпал довольный. В конце концов, я записалась сразу к трем врачам: логопеду, педиатру и психиатру.

Накануне визита к логопеду случилось несколько событий. Всю ночь шел снег и ветер кидал в окна ледяную крупу. Утром мы увидели в окно черно-белую композицию – друг малыша школьный дворник черный Сэм, уворачиваясь от ветра, чистил дорожку среди сугробов.

Когда я обернулась, то увидела, что Малыш уже напялил шапку и один сапог и тянется за курткой.

– Эй, куда это ты собрался? Вот позавтракаем, позвоним папе, а к тому времени, может, погода наладится, и мы пойдем гулять, – размышляла я вслух.

И вдруг сынок, обращаясь ко мне, внятно произнес слова из моей самодельной колыбельной:

– Сиди дома – нет гуляй!!!

Я чуть в обморок не упала от радости и побежала к телефону отменять врачей. Как по тому анекдоту, когда все считали мальчика немым, пока он не открыл рот и не сообщил, что антрекот пересолен. А молчал, потому что до этого все было хорошо.

Это был последний год в доме, где родился сын, где он заговорил и где я научилась расписывать стены, осуществив свое предназначение как художника, потому что большой масштаб соотносится со мной точнее мелких текстильных композиций.

Получив в Москве диплом художника по тканям, я довольно ловко управлялась с мелюзгой – так я называла небольшие повторяющиеся изображения текстильных элементов. Единственный раз я даже испытала гордость, когда за шелк, разработанный мной на фабрике «Красная Роза», получила медаль ВДНХ, после чего несколько лет кряду встречала по всему городу нарядных москвичек в летних струящихся платьях из моего крепдешина.

Ну а теперь пора было уезжать из западной Канады, где после зимы наступает лето, а после лета опять зима. Мы переезжали на восток в Монреаль поближе к Нью-Йорку, поближе к Европе – туда, где четыре времени года сменяли друг друга.

\* \* \*

В Западной провинции Альберта большинство национальных общин жили дружно. Они и их предки, прибыв на эту суровую землю с большим количеством нефти, осели здесь и на равных сосуществуют друг с другом. В провинции Квебек несколько иная ситуация, а в Монреале, где мы обосновались, городе амбивалентном, две имперские нации – французы и англичане – противостоят друг другу, даже ландшафт города разделен Королевской горой (Mont Royal) на два основных района – англофоны на западе и франкофоны на востоке, с вкраплениями всех остальных общин. На одной из вершин этой горы водружен огромный крест, который мирно светит всем.

Удивительно, но мне, ни в чем пока не разобравшейся, неожиданно удалось сыграть роль, примиряющую всех со всеми. Еще не распаковав чемоданы, я узнала, что попала в шорт-лист художников для создания монументального холста на тему Монреаля для конференц-зала в отеле Королевы Елизаветы. Отель, известный, в частности, тем, что в его апартаментах на десятом этаже в 1969 году Джон Леннон и Йоко Оно давали свое bed-in интервью: «За мир – против войны». Тогда же они записали вместе со всеми присутствующими новую песню Леннона «Give Peace a Chance», в которой Джон настоятельно советовал не воевать, а вместо этого make-love и отрачивать волосы! Кровать по такому случаю перетащили из спальни в гостиную, где смогли разместиться репортеры и телевидение.

Мои вполне реалистические эскизы на тему Монреаля какое-то время не принимались, пока я не плюнула и не предложила другую трактовку – полуабстрактную, философскую, с метафизическими элементами, свойственную моему стилю. Ни при каких обстоятельствах во времена соцреализма такая вещь не получила бы одобрения Союза художников. Каково же было мое удивление, когда на очередном совете этот эскиз сорвал аплодисменты. Впоследствии, на горизонтальном шестиметровом холсте, в очень условной манере, в мареве почти акварельных, полупрозрачных слоев я изобразила город-остров, окруженный водой, с намеком на гору и крест – мегаполис, где всякое происходит и в небе, и на воде...



*Автор в мастерской у своей картины «Монреаль – островной город», Канада*

«Такая трактовка устроит всех! – решил совет. – Монреаль – многонациональное сообщество с различными традициями и вероисповеданиями, и такая интерпретация никого не обидит. Это прекрасное решение – и художественное, и политическое».

Больше всего такая трактовка устроила меня. В живописи моей натуре необходимо было преодолеть зависимость от реального в пользу абстрактного, цветового обобщения, сведенного к самой сути предмета.

Однажды из Москвы приехал знакомый искусствовед, и я повела его в отель посмотреть в конференц-зале мою работу. Там всюду шла подготовка к шахматному турниру. Узнав, что я автор, организаторы тут же подрядили меня принять участие в открытии на следующий день. Ну что я могла им рассказать? Сказала, что, как художник, я не обязана играть в шахматы! С этим они, похоже, согласились, но попросили рассказать, что изображено на картине. Они хорошо приняли нетрадиционный подход, который оставляет место для интерпретации.

Утаила я от шахматистов, что, несмотря на школьную неспособность к точным наукам, лет в двадцать пять я неожиданно научилась играть в шахматы. В этой игре существует стратегия, которая включает интуицию и способность лучше видеть целиком всю картину. Игра почему-то возвращала меня к детской мечте стать следователем. Единственной проблемой было, что в процессе, осознав ошибку, я пыталась во что бы то ни стало «переходить». В то мое «шахматное» время я преподавала в краснопресненской художественной школе, и, хотя это был мужской коллектив, среди всех мужчин нашелся только один – Виталий Комар, который разрешал мне возвращать ходы. Однажды, написав автопортрет в виде шахматной королевы на фоне грозового неба, я оставила шахматы навсегда. В отличие от других игр, я слишком болезненно относилась к этим проигрышам! Вот как-то так, все одно к одному – и шахматы, и живопись, и мирное сосуществование всех общин Монреаля, и за мир против войны от Джона Леннона и Йоко Оно.

Несмотря на мирные усилия, трения между франкофонами и англофонами существуют. Время от времени первые хотят отделиться от Канады, проводят и проигрывают референдумы, после чего все на время затихает и идет своим чередом... Кроме языка, конечно, который

всегда остается камнем преткновения! Есть даже закон: все публичные тексты, от названия магазинов до состава ингредиентов пиццы, пишутся на двух языках – французском и английском, причем размер английских букв не должен превышать одной трети размера французского шрифта. Попробуй-ка разобрать инструкцию, например, по спасению утопающего, который десять раз утонет за это время. Лично нас это коснулось, когда пришла пора определять детей в школу. Оказалось, что свободного выбора мы, увы, лишены. Дети французские и дети приезжих автоматически приписывались к французской системе образования. Мы были возмущены, но в долгосрочной перспективе это оказалось нам на руку: французский язык выучить намного сложнее, чем английский, поэтому на выходе мы получили удовлетворительно трехязычных детей. Кроме всех благ Монреаля, здесь добавился еще один сезон – восхитительная осень немыслимых, каких-то несуществующих в палитре цветов, большие старые и толстые деревья, которые роняли под ноги листву – ходи и шелести, сколько душе угодно!

Мы поселились в одном из самых очаровательных монреальских пригородов – городке Биконсфилд, названном в честь Бенджамина Дизраэли (42-го премьер-министра Великобритании), который был возведен королевой Викторией в звание лорда, виконта Биконсфилда. В первую же ночь я услышала вдалеке слабый перестук колес товарного состава. Я даже вздрогнула. Из киевской квартиры на улице Горького (бывшей Кузнечной), находившейся довольно далеко от вокзала, даже днем были слышны гудки паровозов. Эти уютные звуки эхом следуют за мной из страны в страну, обещая покой и дом. Из окон до самого горизонта простирается плоская равнина, но, в отличие от степи, она наполнена глубокими водами судоходной реки Святого Лаврентия. Со всеми закатами-рассветами, ветрами, гонящими волны и облака, с изменчивыми состояниями природы, по выражению пейзажистов, это была «картина мира», как однажды назвала мама мой школьный этюд, написанный на горизонтальной картонке. С того времени я предпочитала горизонтальный формат, а с годами добавились новые горизонты: тягучая возвышенность Воробьевых гор; черта между степью и небом в провинции Альберта; непрерывная линия границы между Канадой и Соединенными Штатами от океана до океана; белая трещина, горизонтально бегущая от края до края холста в Лас-Вегасе; многокилометровая протяженность берлинской стены, которую видно даже из космоса...

## 9

*Какие только сюрпризы не поджидали меня в квартире при подготовке к ремонту! Одним из них стал дулевский чайный сервиз на шесть персон, абсолютно не соответствовавший стилю дома, где почти не было штамповки, кроме нескольких чашек и тарелок для повседневного пользования. Купить такой нафосный набор с двуглавым орлом на каждой чашке и блюде мама, обладавшая прекрасным вкусом, не могла. Подарок? Вряд ли. Можно было бы заподозрить сиделку, но это ей явно было не по карману. В какой-то день нахожусь среди жирювок (какое волшебное и позабытое слово) конверт: Москва. Кремль. Оказалось, сервиз – юбилейный, подарок президента на мамино 90-летие. Сюрпризами были и рисунок Яковлева, почти слепого гения, и две высохшие сигареты – последняя наша заправка, пролежавшая между книг больше двадцати лет, та, которую мы с В. П. так и не успели вместе выкурить...*

На лестницу под предлогом вынести мусор мы с В. П. тайком от мамы выскакивали покурить и перевести дух. При его нездоровом сердце ему не полагалось ни пить, ни курить, что он с успехом игнорировал. Помню, в последнюю зиму своей жизни он стоял у окна и не моргая смотрел на заснеженные крыши. Выпуская струйки дыма, он с удивлением говорил, что не свою жизнь живет.

Первый инфаркт случился в тридцать четыре года, и он никак не рассчитывал на нормальную длинную жизнь. К смерти относился, как к одушевленному врагу, демонстративно пренебрегая фактом ее существования. В продолжение после смерти он не верил и собирался уйти молниеносно, чтобы не доставить ей удовольствия наблюдать его смятение. Надеюсь, так и случилось, хотя последние секунды не дано нам знать. На Калининском проспекте по дороге в галерею, где он должен был открывать выставку, ему стало плохо. Он зашел в универмаг, и, пока продавщица бегала за водой, все было кончено.

Я смотрела на его профиль английского лорда и не знала, что сказать, – только встать рядом, и молча обозревать окрестности. Из окна лестничной клетки, выходящей во двор, открывается убогий вид на развалины советского Карфагена, разруху и увядание. Виды из нашего дома неравноценны: у половины квартир – вид парадный, у другой половины – вид черный, то есть окна смотрят во двор. Пейзаж здесь апокалиптический!



*Бывшее общежитие для красной профессуры*

Восемь конструктивистских зданий, соединенные между собой галереями, уже много лет готовы рухнуть. Через трещины в стенах, на крышах и козырьках подъездов проросли кусты и деревья. С каждым годом они мужают и скоро превратятся в висячие сады Семирамиды. Если бы не общее запустение, все могло бы сойти за оригинальный ландшафтный дизайн. От стен и закругленных балконов отваливаются куски цемента, обнажая ржавую арматуру и грозя пришибить прохожих. Корпуса, однако, выходят на улицу торцами, поэтому ужасное состояние домов не бросается в глаза.

Одновременно со стремительным, несовместимым с жизнью разрушением кто-то заменяет старые окна современными стеклопакетами, напоминая, что «Всюду жизнь», как на картине Ярошенко. Иногда в просвете неплотно задернутой простыни, одеяла, реже занавески мелькнут раскосые глаза, тубетейка, угол двухъярусной кровати... Вероятно, здесь живут гастарбайтеры, приехавшие на заработки в Третий Рим, в новый Вавилон, в Москву, в Москву! Их не видно и не слышно, возможно это одно из условий их проживания в центре Москвы. Подъезд, выходящий в наш двор, забит досками, из них торчат вырванные с мясом провода. На бетонном, нетронутым разрухой козырьке рублеными буквами высечено слово СПОРТ. «Нас утро встречает прохладой, нас ветром встречает река...» Шагают спортсмены – плотные дейнековские девушки в красных косынках, широких черных трусах на резинке – радостные и четкие, как футуристический шрифт. (А теперь, на новом витке, через сто лет после революции, массовый спорт снова в моде, и молодежь на велосипедах и самокатах рассекает нашу широкомасштабную панораму.)

Как раз в год написания этой песни (1932) закончилось строительство общежития для Института красной профессуры. Пролетарский писатель и пламенный революционер Максим Горький даже поучаствовал в проекте собственными деньгами. В день открытия, осмотрев его, он изрек: «Хорошую конюшню выстроили для комиссаров!» Чуть позже «комиссары» были

репрессированы, а институт разогнали. Общежитие перешло во владение военной академии и было заселено курсантами.

В. П. сказал:

– Не дай бог, снесут эти общежития и построят на нашу голову лужковские башенки рюшей и воланов. А в этом обшарпанном конструктивизме исподтишка кипит жизнь. Такой иногда приятный контраст нашему парадному виду, похожему на витрину... Э... – он подыскивал слово.

Я поняла и подхватила:

– ...сувенирной лавки?!

– Ну да, сталинский ампир МГУ, барокко Новодевичьего, Лужники 56-го...

И мы засмеялись, радуясь взаимным попаданиям.

И все же я предпочитала нашу «витрину» его демократичному выбору, в котором он был весьма последовательным. Так было и когда мы жили в Киеве на Печерске, в самом престижном районе, где находятся не только лучшие парки, но и большинство правительственных учреждений. На черные «Волги» и «Чайки», а главное – на пороссячи морды в пыжиковых шапках у В. П. была аллергия.

«Была бы квартира на две стороны, – подумала я, – в зависимости от настроения, то в одну сторону взглянешь, то в другую».

– Небольшое количество башенок я бы оставила, чтобы зафиксировать правление Лужка, – сказала я. – Москва вынесет и их, она прекрасна своей эклектикой!

– Зависит от того, сколько он здесь будет хозяйничать. Хотя, все равно, – Россия летит в пропасть...

Он замолчал и посмотрел сквозь меня, как будто увидел эту самую пропасть.

Я засомневалась. Каждый раз, наблюдая изменения, происходящие в Москве, никакой пропасти я не замечала. Наоборот, я видела взлет, кураж, веселье.

В. П. повторил:

– ...летит в пропасть, и дна еще не видно. Историческая память мало что способна удерживать больше чем на сто лет. Иногда загадочное стремление к самоубийству захватывает целые народы! Твое поколение может с этим столкнуться.

«Эрос и Танатос», – подумала я.

Ночью я просыпаюсь от воплей внизу. Это у нашего придворного бомжа кричит душа, и я его понимаю!

## 10

Смерть случилась 1 апреля 1998 года, и уверяю вас, если бы В. П. знал, какой день ему уготовила ненавистная, он бы очень смеялся... Он ушел на марше, спеша открыть выставку в галерее на Новом Арбате.

В 1986 году В. П. собирался отметить шестидесятилетний юбилей как-нибудь небывало. Впрочем, бывалого у него не бывало. Все, чего он касался, превращалось в праздник. Праздником было даже ежеутреннее неспешное поедание домашнего творога с крепким кофе. В тот раз праздника не получилось – день рождения 26 апреля пришелся на момент аварии на Чернобыльской АЭС.

– Хорош подарочек, – отметил он тогда со свойственной ему иронией, но празднование юбилея не отменил.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.